

Леонид Карпов
**Сатирическая
энциклопедия
Платона
Похотливого.
Том 2**

Леонид Карпов

Сатирическая энциклопедия Платона Похотливого. Том 2

<https://litres.ru/74042828>

SelfPub; 2026

Аннотация

Перед вами уникальный путеводитель по человеческой глупости и высоким материям. Платон Пантелеймонович Похотливый – интеллектуал, эрудит и обладатель безупречных манер. Он способен поддержать разговор о квантовой физике, урбанистике или барокко. Но у его гениальности есть нюанс: любую великую мысль он неизбежно сводит к площадной похабщине. Эта сатирическая энциклопедия изящно просветит вас в науках и безжалостно обнажит изнанку одержимого разума. Готовы к спуску от кутюр до канавы?

Содержание

Деменция	5
Демпинг	8
Депривация	11
Деструкция	14
Детант	17
Детерминизм	21
Дефиниция	24
Дефростация	27
Децимация	30
Диалектика	33
Дивергенция	36
Диверсификация	39
Дивертисмент	42
Дидактика	45
Дисания	48
Дисгеника	51
Дискредитация	54
Дискретизация	57
Дискурс	60
Дислалия	63
Дислексия	66
Дисморфофобия	69
Диссидент	72

Диссонанс	75
Диссоциация	78
Дистимия	81
Дистинкция	84
Дисфемизм	87
Дисфория	90
Диффамация	93
Дифференциация	97
Диффузия	100
Дихотомия	103
Доктрина	106
Доктрина Срамного Детерминизма	109
Достоевизм, достоевщина	112
Евразийство	115
Евхаристия	118
Конец ознакомительного фрагмента.	121

Леонид Карпов

Сатирическая энциклопедия Платона Похотливого. Том 2

Деменция

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел на садовой скамейке с видом человека, только что дочитавшего в подлиннике Спинозу и оставшегося им крайне недовольным. Его пенсне, укрепленное на носу с той же решительностью, с какой Наполеон стоял при Аустерлице, отражало закатное солнце. Вокруг цвели липы, и воздух был пропитан тем особенным петербургским томлением, которое заставляет даже таксистов выражаться почти гексамером.

«Мир, – думал Платон Пантелеймонович, любовно поглаживая козлиную бородку, – есть лишь совокупность апперцепций. Мы скользим по поверхности бытия, словно водомерки по глади пруда, не замечая, как энтропия подтачивает основы нашего когнитивного суверенитета».

В этот момент произошло событие ничтожное, но фатальное. Мимо проходила старушка в ситцевом платье, которая

остановилась, растерянно огляделась и тихо спросила:

– Мил человек, а где здесь аптека? Третий раз по кругу иду, все вылетело из головы...

Платон Пантелеймонович вскинул брови. В его мозгу щелкнуло реле.

– Деменция-с, почтеннейшая, – пропел он, и голос его из бархатного баритона вдруг стал напоминать скрип несмазанной телеги. – Когнитивный дефицит. Распад высших психических функций. Это ведь как в политике: сначала у вас отзывают послов – это краткосрочная память, – а потом жгут архивы. Вы забываете, куда шли, потому что нейронные связи в вашем гиппокампе приказали долго жить. Белки-амилоиды, матушка, залепили вам мозги, как дешевая замазка щели в коммуналке. Вы теперь – чистый лист, на котором природа ставит свой циничный эксперимент.

Он подался вперед, и его взгляд, еще минуту назад философский, замаслился.

– А знаете, что самое сочное в этом маразме? Когда разум отключается, просыпается плоть. Настоящая, нефильтрованная животи́на! Вот вы сейчас дорогу ищете, а подсознание-то ваше, небось, мечтает о крепком мужике с волосатыми ручищами. Ведь баба, когда у нее в башке чердак пустеет, становится доступной, как деготь на ярмарке. У нее же тормозов нет! Кора головного мозга – тю-тю, а подкорка-то бурлит, шевелится, требует своего, грешного.

Платон Пантелеймонович сплюнул и вытер губы рукавом

дорогого, но давно полинявшего пиджака. Его речь окончательно потеряла лоск.

– Че ты на меня зенки вылупила, старая? Думаешь, я не вижу? У тебя ж в голове сейчас не таблетки, а сплошное непотребство. Деменция – это ж лучший подарок для таких, как я. Когда девка не помнит, как ее зовут, она не вспомнит и то, как я ее в подворотне за юбки лапал. Чистый кайф! Никаких тебе прелюдий, никаких «ах, Платон Пантелеймонович, вы такой начитанный». Сразу к делу, к мясу, к потным простыням. Ты ж теперь как кобыла в гоне – памяти ноль, зато инстинкт прет, как дрожжи из кадки. Окутить такую – одно удовольствие: она через пять минут и не поймет, чьи это руки у нее на ляжках чечетку отбивали. В этом-то и соль жизни, мать ее... В чистом, незамутненном скотстве, когда мозги уже сгнили, а низок еще дышит!

Старушка, перекрестившись, сорвалась с места и ковыляла прочь так быстро, будто за ней гнался сам дьявол.

Платон Пантелеймонович снова водрузил пенсне на переносицу, оправил воротничок и вновь стал похож на утомленного интеллектуала.

– Ускользающая натура, – вздохнул он. – Трансцендентность бытия не терпит суеты.

Демпинг

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне, изящно отставив мизинец, и взирал на мир сквозь пенсне, которое постоянно запотевало от пара его собственного интеллектуального величия.

В его голове роились мысли о судьбах цивилизации, о хрупком равновесии между духом и материей. Он казался воплощением благопристойности: застегнутый на все пуговицы пиджак, безупречно повязанный галстук и томик Гегеля, небрежно брошенный на столик. Взгляд его скользил по колонке финансовых новостей.

– Эстетика экономического бытия, – мурлыкал он под нос, теребя бородку чин-пуф, – требует от нас строгого соблюдения пропорций. Мир – это гармония спроса и предложения, где каждый субъект должен нести свое бремя с достоинством античного атланта.

На соседней странице красовался заголовок: «Демпинг как стратегия захвата рынков». Платон Пантелеймонович благоговейно вздохнул.

– Демпинг... Какое тонкое, почти музыкальное слово. Искусственное занижение цен, сознательная продажа товаров ниже себестоимости ради сокрушения конкурента. Это же высшая форма коварства, задрапированная в мантию благодетеля для потребителя!

В этот момент за соседний столик присела дама в излишне коротком, по мнению моралистов (и в крайне удачном, по мнению Платона), трикотажном платье. Она громко посетовала подруге, что купила туфли на распродаже со скидкой в семьдесят процентов, а те развалились через два часа.

Платон Пантелеймонович вздрогнул. Его челюсть слегка подалась вперед, а благообразное лицо приобрело выражение голодного койота, увидевшего раненую косулю.

– Вот оно! – воскликнул он, внезапно забыв о своем глase. – Типичный пример агрессивного демпинга в среде антропоморфных взаимодействий! Вы понимаете, что происходит? Рынок перенасыщен предложениями, и эти... эти хищницы выбрасывают на прилавок свои сомнительные активы по бросовым ценам!

Он подался к даме, сверкая глазами.

– Сударыня, вы жертва рыночной экспансии! Демпинг – это ведь что? Это когда какая-нибудь наглая девка с окраины заходит в приличный кабаk и начинает торговать своей «продукцией» буквально за коктейль. Она сознательно идет в убыток, понимаете? Ей плевать на амортизацию своих достоинств и износ основных фондов! Она просто хочет вытеснить с этого пятачка приличных, высокобюджетных... дам, которые знают себе цену.

Платон Пантелеймонович перешел на хриплый шепот, его пенсне опасно перекошилось.

– И что мы имеем в итоге? Монополия! Захватив внима-

ние мужиков демпинговыми расценками, эта шмара, извиняюсь за мой французский, зачищает территорию. А потом – бац! – и устанавливает диктатуру. Вы думаете, это экономика? Нет, это чистая похоть, упакованная в дефицит бюджета! Вчера она за пиво давала, а сегодня, когда все конкурентки в депрессии, требует шубу из соболя. Это же классический хищнический захват!

Он уже почти кричал, брызгая слюной на скатерть.

– Вся эта ваша бабская возня – сплошной ценовой сговор и демпинг! Мажутся дешевой штукатуркой, чтобы выдать себя за премиальный сегмент, а внутри-то – гниль и неликвид! Завлекают мужика скидками на декольте, а потом эксплуатируют его кошелек, как колониальную территорию. Тьфу! Сами вы все – товар с заниженной стоимостью, который потом боком выходит!

Дамы в ужасе ретировались. Платон Пантелеймонович, тяжело дыша, допил остатки теплого кофе. В голове его все еще крутилась железная, как лом, логика: мир рушится потому, что женщины не соблюдают антимонопольное законодательство в постели.

Депривация

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне, поджав губы с видом человека, несущего на плечах как минимум судьбу Парфенона. Его пенсне, казалось, было настроено исключительно на фиксацию экзистенциального кризиса цивилизации. Перед ним лежал свежий номер «Вестника Духа», а в голове теснились мысли о трансцендентальном.

– Посмотрите на этот закат, – обратился он к случайному соседу по столику, изящно отставив мизинец от чашки с ячменным напитком. – В этом багрянце я вижу не просто преломление лучей, а метафизическую усталость материи. Мир изношен, мой дорогой сударь. Мы заперты в клетке собственных ощущений, и величайшая трагедия нашего 21 века – это депривация.

Сосед, молодой человек в клетчатом кепи, вежливо кивнул, не подозревая, в какую бездну его сейчас увлекут.

– Депривация, – продолжал Платон Пантелеймонович, возвысив голос, – это ведь не просто нехватка. Это лишение. Вот вы, например, знали о сенсорной депривации? Когда человека помещают в камеру с соленой водой, в абсолютную тишину и тьму. Мозг, лишенный внешних раздражителей, начинает пожирать сам себя, выстраивая галлюцинации из пустоты. Это высшая форма одиночества, сопоста-

вима с потерей социального статуса или сна. Человек без стимулов – это труп, танцующий в вакууме. Мы все страдаем от эмоциональной депривации, когда общество лишает нас подлинного сопереживания, оставляя лишь суррогаты...

В этот момент за соседним столиком официантка неловко взмахнула подносом, и одна-единственная капля вишневого сиропа шлепнулась прямо на белоснежную салфетку перед Платоном Пантелеймоновичем.

Глаза его расширились. Он уставился на красное пятно так, словно это был стигмат. Высокопарная мина дрогнула, уголок рта пополз вниз.

– Вот! – вскричал он, ткнув пальцем в пятно. – Типичный пример! Вторжение хаоса в стерильный мир интеллектуала. А почему? Потому что у этой девки, небось, в голове одна чехарда. Вот вы говорите – депривация сна, мол, мучение. А я вам скажу: когда такая бабища неделю без мужика мается, у нее в организме такая депривация начинается, что руки трясутся, как у алкаша у пивного ларька.

Он подался вперед, обдав соседа запахом дешевого табака и внезапной злобы. Его тонкая ирония сменилась хриплым шепотом.

– Она же, милоч, когда не получает своего поршня, у нее матка в горло лезет. Это ж физиология, мать ее за ногу! Ты посмотри на ее бедра – там же депривация ласки такая, что искры летят. Она поднос уронила, потому что у нее внутри все зудит и чешется, как у шелудивой суки на помойке. Она

мечтает не о камере сенсорной, а чтобы ее в каморке за кулисами зажал какой-нибудь боров вроде меня, чтоб аж кости хрустнули. У нее ж глаз горит не от работы, а от того, что в нутре все чешется.

Платон Пантелеймонович сорвал пенсне и вытер его засаленным платком, тяжело дыша.

– Видишь, как зенками вращает? Это она депривацию внимания компенсирует. Ей не Кант нужен, ей нужен здоровый кобель с кулаком в пол-лица, чтоб завалил ее на эти грязные салфетки и показал, где раки зимуют. Вся мировая политика на этом стоит! Англичанка гадит, потому что у нее депривация регулярного перепиха в овсянке застряла. А эта... тьфу! Глянь, как задницей вильнула. Пошла, кобыла, сено искать, а найдет только мой плевок в спину, потому что недодано ей, понимаешь? Недотыкано!

Он замолчал, уставившись в пустую чашку с видом оскорбленного пророка. Сосед в кепи поспешно ретировался, оставив недопитый кофе. Платон Пантелеймонович вновь водрузил пенсне на переносицу и, глубоко вздохнув, вернулся к чтению «Вестника Духа», бормоча под нос:

– Совершенно, совершенно не с кем поговорить о метафизике... кругом одни неудовлетворенные самки.

Деструкция

Платон Пантелеймонович Похотливый стоял у окна своей холостяцкой хрущевки, облаченный в бархатный шлафрок. Вид на затянутое серым маревом петербургское небо наводил его на мысли о вечном. В руках он держал томик Хайдеггера, бережно заложенный квитанцией за вывоз мусора.

– Мир, – шептал он, поправляя пенсне, – есть лишь совокупность феноменов, стремящихся к окончательному распаду. Посмотрите на этот туман! Это же чистая энтропия, триумф деструкции над бытием.

Понятие «деструкция» Платон Пантелеймонович читал особо. В его понимании это было не просто разрушение, а философское демонтирование смыслов, обнажение костяка реальности. Он считал себя просветителем, обязанным нести свет деструктивного анализа в массы, даже если массы в лице дворника Пахомыча просто хотели подмести двор.

Случайное событие не заставило себя ждать. Внизу, на обледенелом тротуаре, грузная дама в каракулевом берете поскользнулась и, издав нечленораздельный вскрик, выронила пакет с продуктами. Десяток яиц с хрустом встретился с асфальтом, являя миру клейкую желтую жижу.

Платон Пантелеймонович встрепенулся.

– Вот оно! – воскликнул он, подаваясь вперед. – Идеальный акт деструкции! Видите ли вы, как форма отрицает са-

му себя? Скорлупа – этот хрупкий барьер между порядком и хаосом – пала. Это же метафизический жест, разоблачение внутренней сути, которая, увы, всегда оказывается жидкой и неприглядной.

Он зажмурился, и его логика, подобно сорвавшемуся с тормозов трамваю, покатилась по привычным рельсам.

– Ведь что такое деструкция в социальном аспекте? Это когда мы снимаем покровы. Вот эта баба в берете... она же как эта цивилизация. Снаружи – мех и приличия, а внутри – только и ждет, чтобы развалиться и вывалить свое нутро. И ведь нутро-то, заметьте, всегда липкое. Как у тех девок с Окружной, что я видел в прошлый вторник.

Голос Платона Пантелеймоновича стал тише, а изысканная дикция начала давать сбои, пропуская вязкое причмокивание.

– Деструкция, господа, это когда ты ее взглядом раздеваешь, а там – сплошной сюрреализм и антисанитария. Вот взять хотя бы Зинку из второй парадной. Идет, виляет кормой, а я-то знаю: в ней заложен механизм саморазрушения. В каждой складке ее необъятного тела – хаос. Ты ей про Хайдеггера, а она тебе – потным локтем в бок. Это же чистое свинство, господа! Разобрать бы ее на запчасти, по всем правилам деструкции, чтоб понять, откуда в этой бабище столько наглости и похоти.

Он вцепился в подоконник, тяжело дыша. Пенсне сползло на кончик носа.

– Мир – это помойка, где каждая юбка – это занавес, скрывающий бездну. Мы все стремимся к распаду, к этой грязной, вонючей деструкции, когда плоть уже не держит форму, а превращается в кисель. Зинка, стерва, ты слышишь? Твои тела – это отрицание логоса! Я бы тебя деструктировал прямо на этом асфальте, чтоб ты знала, как яйца бить...

Платон Пантелеймонович вдруг осекся, заметив, что дворник Пахомыч смотрит на него снизу вверх с нескрываемым ужасом. Похотливый поправил шлафрок, вернул на лицо выражение высокородной скорби и сухо добавил:

– Впрочем, деструкция субъект-объектных отношений требует более детального изучения в условиях местного кабака.

Детант

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне, поджав губы с таким видом, будто лично принимал капитуляцию у здравого смысла. На коленях у него лежал свежий номер газеты, а в голове – титанические пласты мировой истории. Платон Пантелеймонович считал себя хранителем интеллектуального огня, человеком, чья эрудиция могла бы вызвать одышку у академика.

– Детант, – прошептал он, смакуя французское слово, как дорогой ликер. – Великая эпоха разрядки международной напряженности. Ослабление хватки «холодной войны». Как тонко, как упоительно...

Он обвел взглядом зал. Для него это были не просто посетители, а геополитические субъекты. Вот официантка несет поднос – это явно нейтральная Швейцария. Вот господин в углу сердито сопит над счетом – типичный блок НАТО в период бюджетного кризиса.

Сам термин «детант» (Détente) Платон Пантелеймонович ценил за его историческую многослойность. Он вспоминал семидесятые годы: договоры ОСВ-1, полет «Союза» и «Аполлона», Брежнева и Никсона, пожимающих руки. Это было время, когда мир, устав от ядерного мандража, решил наконец расстегнуть верхнюю пуговицу парадного кителя и выдохнуть. Разрядка! Снижение риска случайного столкно-

вения!

В этот момент произошло Событие.

Молодая дама за соседним столиком, пытаясь достать из сумочки зеркальце, неловко зацепила ложечкой край чашки. Кофе выплеснулся, оставив на белоснежной скатерти расплывающееся пятно, напоминающее очертаниями Латинскую Америку.

Платон Пантелеймонович вздрогнул. Его взгляд приклеился к пятну, а затем плавно перетек на щиколотку дамы.

– Вот оно, – пробормотал он, и его голос обрел неприятную маслянистость. – Наглядный пример нарушения паритета. Вы видите это, милочка? Это же чистой воды политический кризис. Вы пролили кофе, и что это, если не прямая агрессия против стабильности? Но не бойтесь, я сторонник политики детанта. Я готов к переговорам.

Он подался вперед, и его глаза заблестели нездоровым блеском.

– Ведь что такое разрядка, если вдуматься? Это когда две стороны понимают: если начать палить из всех пушек, сгорят оба. Вот и вы, сударыня, своей юбкой – этой, простите, демилитаризованной зоной – провоцируете меня на гонку вооружений. У вас там, под подолом, наверняка скрыты шахты стратегического назначения, а? Икры такие крепкие, небось, нацелены прямо на мой штаб.

Дама побледнела и попыталась отодвинуться.

– Куда же вы? Мы же обсуждаем снижение напряженно-

сти! – Платон Пантелеймонович уже не шептал, он перешел на хриплый доверительный тон, а его лексика начала стремительно терять светский лоск. – Вы думаете, я не вижу, как ваш бюстгальтер сдерживает экспансию? Это же политика сдерживания в чистом виде! А я хочу детанта. Я хочу, чтобы мы с вами перешли к прямым контактам, как та «горячая линия» между Кремлем и Белым домом. Только вместо трубки телефона я бы прижал к уху что-нибудь помягче.

Он облизнулся, и в его глазах окончательно погас свет просвещения, уступив место мутному кумару.

– Хватит строить из себя неприступную Финляндию! Какая там разрядка, когда у меня в штанах сейчас начнется Карибский кризис? Ты посмотри на себя, кобыла породистая, расплескала жижу, сидит, зенками хлопает. Давай уже перейдем к разделу сфер влияния. Я твою «Берлинскую стену» из кружев за пять минут штурмом возьму. Ты же хочешь, чтобы я тебе продемонстрировал мирное сосуществование двух систем в одной койке? Да я тебя так отразряжаю, что ты забудешь, как Хельсинкские соглашения подписывать! Иди сюда, устроим встречу в верхах, я тебе покажу, какой у меня потенциал сдерживания...

Дама вскочила, облила Платона Пантелеймоновича остатками холодного кофе и вылетела из заведения.

Похотливый замер, вытирая лицо грязной салфеткой. Он снова выпрямился, поправил галстук и с достоинством посмотрел на ошеломленного официанта.

– Видите? – сухо произнес он. – Типичный пример одностороннего выхода из договора. К сожалению, мир еще не готов к полной и окончательной разрядке. Придется снова наращивать присутствие.

Детерминизм

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне, поджав губы так, будто удерживал ими всю тяжесть мировой интеллигентности. Его пенсне, казалось, было настроено исключительно на восприятие высоких материй. Глядя на пролетающий за окном тополиный пух, он размышлял о жесткой причинности бытия.

– Детерминизм, – прошептал он в пространство, – есть высшая форма смирения перед лицом Мирового Порядка.

В его голове выстраивалась стройная симфония: если Вселенная – это гигантский механизм, где каждое движение атома обусловлено предыдущим, то и его нынешний завтрак был предрешен еще в момент Большого взрыва. Лапласовский демон уже тогда знал, что Платон Пантелеймонович закажет именно эклер, а не ром-бабу. Нет места случайности! Все – от падения империй до колебания цен на лайткоин – вплетено в жесткую цепь причинно-следственных связей. Свобода воли – лишь иллюзия для тех, кто не способен осознать монолитность Бытия.

В этот момент за соседним столиком официантка, неловко взмахнув подносом, уронила на пол пузатую солонку. Та с глухим стуком лопнула, рассыпав белую смерть по паркету.

Платон Пантелеймонович вздрогнул. В его глазах сверкнул недобрый, маслянистый огонек.

– Вот оно! – воскликнул он, обращаясь к опешившей девице. – Вы полагаете, это неловкость? О, нет, душенька! Это неизбежность. Это железная пята Детерминизма. Солонка упала, потому что вектор силы был задан траекторией вашего локтя, а ваш локоть дернулся, потому что в ваших жилах бурлит предрешенная биологическая химия.

Он подался вперед, и его голос из академического тенора перешел в хриплый баритон.

– И ведь как в жизни, а? Все тянется одно за другим. Вот взять среднестатистическую петербургскую бабу... казалось бы, идет себе по улице, крутит кормой. Вы думаете, она сама решает, какому кобелю улыбнуться? Черта с два! У нее в нутре все прописано: какой у нее объем бедра, такая и амплитуда маха. Это же механика, милочка! Чистая физика трения.

Платон Пантелеймонович облизнул губы, пенсне сползло на кончик носа. От прежней эрудиции остался только остекленелый взгляд.

– Если у бабищи ляжки толстые, то по закону всемирного тяготения она не может не потеть в жару. Это детерминизм! Она обязана задрать подол, чтобы хоть как-то охладить свой пыл, и тут-то ее, голубушку, и подсекает закон причины и следствия в виде какого-нибудь Жоржика с набережной. И никакой метафизики, одна сплошная скотская надобность. Солонка ваша – это как расстегнутый лифчик: раз крючок лопнул, то и все остальное вывалится наружу, не спрашивая

твоего гребаного разрешения. Потому как ежели плоть созрела и давление изнутри давит на материю, то неизбежен финал – валяние в пыли, хрипы да слюни по подушке.

Он тяжело задышал, глядя на рассыпанную соль так, будто видел в ней очертания чего-то крайне непристойного.

– Так что нечего извиняться, – гаркнул он, окончательно теряя человеческий облик. – Тащи еще водки, детерминированная ты шкура. Кофе – это для слабаков, а нам, философам, нужно смазать шестеренки, чтоб эта чертова причинность окончательно не стерла нас в труху!

Дефиниция

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне, подперев чело десницей, как истинный мыслитель эпохи упадка. Окружающая действительность представлялась ему лишь зыбкой декорацией для титанической работы его духа. Солнечный луч, пронзавший пыльный воздух заведения, казался ему не просто физическим явлением, а метафизическим перстом, указующим на несовершенство бытия.

– Взгляните на эту симфонию повседневности, – негромко пробормотал он, обращаясь к чашке ристретто. – Как тонко природа балансирует на грани энтропии. Мы, люди, лишь пылинки в жерновах детерминизма.

Его взгляд упал на передовицу газеты, где крупным шрифтом значилось слово «Дефиниция». Платон Пантелеймонович оживился.

– Дефиниция! – провозгласил он, обращаясь уже к испуганному бариста. – О, это великое таинство логики. Ведь что есть дефиниция в своей основе? Это установление содержания понятия, четкое очерчивание границ, которые отделяют одну сущность от другой. Без дефиниции наш разум – это безбрежный океан хаоса. Мы должны фиксировать отличительные признаки, чтобы не погрязнуть в болоте смысловой неопределенности. Это акт интеллектуального насилия над реальностью ради торжества порядка!

Он сделал глоток и вдруг замер. Прямо перед его столиком официантка, потянувшись за салфеткой, неловко задела сахарницу, и та с тихим звоном рассыпалась по кафелю.

В глазах Платона Пантелеймоновича что-то щелкнуло. Высокий лоб прорезала вульгарная жилка.

– Вот вам и дефиниция! – гаркнул он, и голос его приобрел тембр ржавой пилы. – Рассыпала, значит? Границы нарушила? А ведь баба, ежели ее дефинировать как объект, она же из одних дырок и косяков состоит. Вся ее сущность – это когда ты ее к стенке припер, и вот тут-то самая четкая дефиниция и наступает.

Он подался вперед, обдав бариста запахом дешевого табака и внезапного безумия.

– Вы думаете, политика – это про законы? Хрена с два! Это та же дефиниция: кто кого подмял и в какую позу поставил. Вот взять хотя бы погоду. Я вам так скажу: любая погода – это лишь предлог, чтобы бабы сбросили с себя лишнее. Дождь? Значит, платье прилипнет к заднице так, что хоть анатомию изучай. Солнце? Значит, будут потеть и пахнуть кобылицей в охотку.

Платон Пантелеймонович сплюнул на пол, окончательно растеряв облик интеллектуала.

– А бабы? Они ж как дефиниции в словаре: с виду умные слова, а копни глубже – сплошной срам и потные подмышки. Раньше-то я думал: «Ах, эстетика, ах, либидо». А сейчас вижу – просто мясо в юбках, которое только и ждет, чтоб его

в узкие рамки твоих понятий вогнали. Да пожестче! Чтоб ни одной лишней буквы в дефиниции не осталось, только голый функционал и честный, площадной мат, когда она за шкварник схвачена. Тьфу, дайте еще кофе, а то у меня от этой философии в паху свербит!

Дефростация

Платон Пантелеймонович Похотливый стоял у витрины гастронома с видом античного философа, случайно забредшего в лавку колониальных товаров. Его пенсне, казалось, удерживалось на переносице исключительно силой мысли о высоком, а кашне было повязано с тем изящным трагизмом, какой встречается лишь у вдовствующих профессоров эстетики.

– Взгляните, милейший, – обратился он к случайному прохожему, указывая тростью на глыбу замороженной говядины, – как безжалостно время консервирует сущее. В этом ледяном безмолвии скрыта метафизика ожидания.

Прохожий ускорил шаг, но Платон Пантелеймонович уже вошел в раж. Темой дня была дефростация. Он читал об этом в засаленном журнале «Пищевая промышленность», который стащил из поликлиники, и теперь нес знание в массы.

– Большинство обывателей, – вещал он в пустоту, – совершают преступление против материи, ввергая плоть в кипяток или, боже упаси, под струю горячей воды. Это варварство! Дефростация – это таинство пробуждения клеток. Истинная дефростация должна быть медленной, в холодильной камере при температуре плюс четыре. Только так влага, обращенная в лед, успевает впитаться обратно в волокна, не разрушая их нежной структуры. Это как возвращение из

небытия.

Он остановился, замороженный собственной эрудицией. В этот момент из дверей магазина вышла дородная дама в тесном пальто. Она неловко поскользнулась, взмахнула авоськой, и из ее пакета на асфальт выпала подтаявшая куриная тушка, скользкая и розовая.

Глаза Платона Пантелеймоновича сузились. В благородном профиле проступило что-то хищное, крысиное.

– Вот! – вскричал он, тыча пальцем в курицу. – Типичный пример поспешности! Посмотрите на этот сок, вытекающий безвозвратно. Это же чистый гистидин и креатин, уходящие в сточную канаву! А почему? Потому что вы, мадам, не имеете терпения. Вы хотите все и сразу.

Он шагнул к даме, и его голос внезапно потерял академическую бархатистость, обретя хриплые, маслянистые нотки.

– С бабами ведь точно так же, – просипел он, облизнув сухие губы. – Думаете, ее можно сразу в кипяток? Нет, бабу надо дефростировать постепенно, чтоб соки не растеряла. Сначала холодком ее придержать, чтоб она, значитца, заиндевила от твоего пренебрежения, а потом – по четыре градуса в час, медленно, чтобы каждый мускул изнутри отходить начал, соком наливаясь.

Дама попятилась, но Похотливый уже вошел в пике своего излюбленного безумия. От прежнего философа осталась лишь кривая ухмылка.

– А вы их сразу на сковородку прете, дурачье. А она там,

на сковородке-то, сожмется, станет жесткая, как подошва у старого сапога, и воняет паленым. Настоящая дефростация – это когда ты ее, розовую, пальцем тычешь, а она податливая, сопливая, льдом уже не колет, но еще и не закипела. Эх, пошли нынче девки – сплошная глазурь ледяная, весу много, а как оттает – так одна вода в тазу и остается, и жарить-то нечего, тьфу!

Платон Пантелеймонович сплюнул на обледенелый троуар, поправил пенсне, которое теперь сидело на нем как на старом сатире, и побрел прочь, бормоча под нос о том, что у молодых нынче совсем нет выдержки в вопросах оттаивания филейных частей.

Децимация

Платон Пантелеймонович Похотливый стоял у окна кофейни, заложив руки за спину с видом государственного мужа, застигнутого за раздумьями о судьбах Отечества. Его пенсне отражало осеннюю петербургскую хмарь, а крахмальный воротничок подпирал подбородок с такой важностью, будто на нем держался весь стоицизм Античного мира.

– Взгляните, душенька, – обратился он к официантке, – какой фатализм в движении этих облаков. Чистый эсхатологический восторг. Мир застыл в ожидании некоего великого очищения, не находите?

Официантка, протиравшая соседний столик, лишь неопределенно хмыкнула. Платон Пантелеймонович удовлетворенно прикрыл глаза. Его ум, воспитанный на латыни и мемуарах, жаждал строгого порядка. Он как раз размышлял о том, что современному обществу не хватает античной дисциплины, когда за окном произошло досадное недоразумение: трамвай скрежетнул на повороте, и очередь на остановке, охваченная внезапной паникой перед брызгами из лужи, поредела ровно на несколько человек, отступивших в арку.

– Вот! – воскликнул он, ткнув пальцем в стекло. – Стихийная децимация! Вы хоть понимаете, милочка, какой глубокий смысл сокрыт в этом случайном отсеве?

Платон Пантелеймонович выпрямился, и в его глазах

блеснул недобрый огонек.

– Децимация, – пропел он, – это ведь не просто казнь каждого десятого по жребию, как практиковали в римских легионах за трусость или потерю знамени. Это высшая форма математической справедливости! Представьте: строй суровых мужей, тишина, и вдруг – рок! Десятый делает шаг вперед, чтобы принять смерть от рук своих же товарищей. Девять живут в вечном страхе и стыде, а десятый... ну, десятому уже все равно. Это очищение строя, когда коллективная вина искупается кровью единиц.

Он сделал паузу, и его лицо вдруг обмякло, а борода чинпупф как-то плотоядно дернулась.

– Хотя, если вдуматься, – его голос стал тише и приобрел вязкий, неприятный оттенок, – децимация в наше время была бы куда интереснее, если бы ее проводили в женских пансионах. Ну, вы понимаете, о чем я. Представь себе, стоит такая шеренга девок, все в белых чулочках, коленки дрожат, юбки шуршат от страха... И вот я иду вдоль строя. Раз, два, три... девять... Опа! Десятая!

Платон Пантелеймонович облизнул губы, и его лощеный образ окончательно поплыл, как дешевая свеча.

– И вот эту десятую, самую сочную, с такой, знаете, тяжелой кормой, мы не казнить будем, нет. Мы ее в камеру заберем для «особого дознания». А остальные девять пусть смотрят и завидуют, как их подругу децимируют во все щели. Ведь что такое баба? Это же животное, ей палка нужна,

чтобы не забывала, чье место в стойле. И чем больше их в ряд выстроишь, тем слаще выбирать ту, у которой рожа поглупее, а ляжки пошире. Я б их там каждую десятую так отдецимировал, чтоб они у меня потом неделю по-латыни не говорить, а только мычать могли, сучки потные...

Он тяжело задышал, притиснувшись животом к подоконнику, и его пенсне окончательно запотело от жаркого, нечистого дыхания. Официантка уже собиралась отойти к стойке, но Платон Пантелеймонович ее остановил.

– Принесите мне еще кофе, – просипел он, возвращаясь в образ. – Только следите за счетом. Если это будет десятая чашка за день, я за себя не ручаюсь.

Диалектика

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне «Мудрость и Сливки», подпирая лоб костлявым пальцем. На нем был вельветовый пиджак цвета глубокой меланхолии и пенсне, которое, казалось, держалось на лице исключительно за счет силы его самомнения.

Перед ним лежал томик Гегеля, на который он взирал с благостным высокомерием патриарха. Окружающая действительность – этот нелепый калейдоскоп из питерских воровьев, трамвайных звонков и дам в платьях – казалась ему лишь грубым черновиком, который еще предстояло отредактировать его мощным интеллектом.

– Гармония! – прошептал он, поправляя пенсне. – Единство формы и содержания, зажатое в тиски обывательского бытия.

В этот момент официант, юноша с лицом испуганного херувима, неловко взмахнул подносом, и чашка эспresso, опиравшая изящную дугу, разбилась о кафельный пол. Черная лужа растеклась, впитывая в себя пыль и крошки круассанов.

Платон Пантелеймонович вскинул бровь. В его голове зашевелились шестеренки великой мысли.

– Друг мой, – обратился он к застывшему юноше, – не казнитесь. Вы только что наглядно продемонстрировали нам торжество диалектики. Ведь что есть этот акт? Это переход

количества в качество! Целостность фарфора отрицается его дробностью, но в этом отрицании рождается новая истина – истина хаоса. Дialeктика, мой милый, учит нас, что развитие происходит через борьбу противоположностей. Тезис – ваша чашка, антитезис – пол, а синтез – вот эта грязная жижа, в которой отражается наше несовершенство.

Он подался вперед, и его глаза подозрительно заблестели.

– Понимаете ли вы, что вся мировая история – это такая же лужа? Возьмите единство и борьбу противоположностей. Вот стоит баба – тезис. Гладкая такая, причесанная, вся из себя институтка. Но внутри-то у нее, голубчик, зреет анти-тезис! Желание скинуть корсет и пуститься в такое отрицание отрицания, от которого у Гегеля бы парик слетел. Ведь диалектическое снятие – это когда мы берем старую форму и заменяем ее на содержание погорячее.

Платон Пантелеймонович перешел на свистящий шепот, а его пенсне сползло на кончик носа.

– Вот вы думаете – философия, логос... А я вам скажу: истинная диалектика – это когда эта самая мадам превращается в дикую кобылу. Тут тебе и единство, и борьба, и такие, извините, противоположности, что искры летят! Понимаете, к чему я? Сначала она ломается, как эта ваша чашка, а потом – синтез! В поту, в мыле, в бесстыдстве! И чем больше в ней этого «количества» – ну, вы поняли, каких именно выпуклостей, – тем резче переход в новое «качество», когда она орет так, что в соседнем квартале собаки дохнут.

Он хлопнул ладонью по столу, забрызгав манжеты остатками кофе.

– Вся эта ваша метафизика – тьфу! Главное – поймать момент, когда антитезис уже задрал юбку, а тезис еще пытается делать вид, что он приличный человек. Вот это, брат, и есть настоящая борьба, от которой все живое и происходит. А вы – «чашка разбилась»... Эх, юноша, ничего-то вы в женской природе не смыслите через призму высшей логики!

Платон Пантелеймонович откинулся на спинку стула, тяжело дыша и глядя на проходящую мимо даму с таким научным интересом, что та невольно прибавила шаг, прикрываясь сумочкой.

Дивергенция

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне, поджав губы с таким видом, будто лично курировал расширение Вселенной. Его пенсне сияло холодным блеском превосходства, а воротничок был накрахмален до хруста, подobaющего истинному хранителю академических традиций. В блокноте он аккуратно выводил заголовок: «О превратностях биологической и социальной дивергенции».

Мир вокруг казался ему стройным чертежом. Платон Пантелеймонович с упоением размышлял о том, как из общего корня произрастают различия: как дарвиновские выюрки на Галапагосах, ведомые суровой необходимостью, обзавелись разными клювами, чтобы щелкать орехи или ловить букашек.

– Дивергенция, – шептал он, смакуя слог, – есть высший акт расхождения признаков ради выживания вида в условиях конкуренции.

В этот момент за соседний столик приземлилась пышная дама в леопардовом манто. Она с грохотом уронила сумочку, из которой выкатился круглый спелый персик и замер у штиблет Платона Пантелеймоновича.

– Ой, пардон муа, – пропела дама, обдав его облаком при-торных духов.

Платон Пантелеймонович замер. Взгляд его прилип к пер-

сику, затем плавно перетек на крутые изгибы дамы. В его голове щелкнул механизм.

– Вот она, – его голос внезапно обрел хрипотцу, – живая иллюстрация расхождения свойств. Ведь изначально, если вдуматься, мы все – лишь сгустки протоплазмы. Но взгляните, как дивергировала эта особь! Пока один выюрок точит клюв о гранит науки, эта... хм... форма жизни культивировала в себе исключительно мягкие ткани.

Он поднял персик, чувствуя его ворсистую кожу.

– Знаете ли вы, милочка, – обратился он к даме, и его взгляд опасно маслянисто заблестел, – что ваша анатомия – это апофеоз эволюционного разрыва? Дивергенция – штука жестокая. Вот взять, к примеру, ваши бедра. Они ведь разошлись в своих признаках так далеко от здравого смысла, что превратились в самостоятельный объект культа. Это же чистый биологический беспредел! Вы же ими не орехи щелкаете, как те птички, вы ими... вы ими пространство искривляете, чертовка!

Дама нахмурилась, но Платон Пантелеймонович уже не мог остановиться. Его эрудиция стремительно летела в канаву.

– Это ведь как в политике: были одни лозунги, а потом – бац! – и дивергенция интересов. У вас слева – одно колышание, справа – другое, а посередине – пропасть, в которую хочется рухнуть без парашюта. Какая там наука, когда у вас такие... агрегаты под мантию? Вы ж понимаете, что природа

создала эти выпуклости не для красоты, а чтоб у мужика в башке все дивергировало к чертям собачьим? Тьфу, да что там выюрки! Вы посмотрите, как у вас корсет трещит – это же борьба видов в чистом виде, когда мясо побеждает материю!

Он облизнулся, глядя на ее вырез, и добавил уже совсем сипло:

– Слышь, мамаша, ты мне зубы не заговаривай своей дивергенцией. Ты лучше скажи, как у тебя эти два «признака» под кофтой уживаются, не разбегаются в разные стороны? Пошли, покажу тебе на практике, как происходит слияние после долгого расхождения...

Дама молча выхватила персик и с размаху впечатала его в пенсне Платона Пантелеймоновича. Тот лишь блаженно зажмурился, чувствуя, как липкий сок стекает за воротник, окончательно завершая процесс его личной моральной деградации.

Диверсификация

Платон Пантелеймонович Похотливый стоял у окна своей гостиной, облаченный в бархатный шлафрок цвета переспелой сливы. Его лоб, изборожденный морщинами мнимых дум о судьбах человечества, покоился на ладони. На столе остывал цейлонский чай, а рядом лежал свежий номер «Экономического вестника».

– Мир, – прошептал он в пустоту, – это хрупкий сосуд, требующий равновесия. Как важно в наш век турбулентности соблюдать золотое сечение в управлении активами.

В этот момент за окном произошло событие ничтожное, но фатальное: дворник Пахомыч, пытаясь удержать в руках охапку метел и одновременно ведро с известью, споткнулся. Ведро грохнуло, побелка залила асфальт, а метлы рассыпались веером.

Платон Пантелеймонович вздрогнул. Его глаз хищно блеснул.

– Вот она, – возгласил он, обращаясь к пыльной герани, – наглядная катастрофа отсутствия диверсификации! Ведь что есть диверсификация, если не высшее благоразумие? Это стратегия распределения ресурсов, капитала или, если угодно, внимания по разным объектам, дабы минимизировать риски. Пахомыч, сей неотесанный демиург, поставил все на одно ведро и одну охапку. Итог – полная потеря лик-

видности в грязи!

Он прошелся по комнате, заложив руки за спину. Голос его стал ниже, в нем прорезались хриплые нотки.

– Мудрый инвестор не кладет все яйца в одну корзину. Если у тебя акции только одного завода, и тот сгорел – ты нищий. Но если ты разложил свои средства: часть в золото, часть в облигации, часть в технологический сектор – ты защищен. Разнообразие портфеля – вот залог стабильности!

Платон Пантелеймонович внезапно остановился и облизнул пересохшие губы. Его мысли, подобно сорвавшемуся с цепи кобелю, понеслись в привычную подворотню.

– В любви, господа, все точно так же. Диверсификация – это ведь не просто термин, это образ жизни истинного жеребца. Разве можно заикливаться на одной законной супруге? Это же финансовое самоубийство! Одна баба – это монокультура, это риск застоя и внезапного дефолта чувств. А когда у тебя, скажем, Зинка из овощного для грубых утех, Анфиса Петровна для томных вздохов, а та крашенная стерва из бухгалтерии – для порки на офисном столе, это и есть идеальный портфель!

Он рванул ворот шлафрока, явив миру клочок седых волос на груди. Стиль его окончательно потерял лоск.

– Распределяй активы, так твою маковку! Если одна даст от ворот поворот или, упаси бог, захворает по-женски, у тебя всегда в заначке есть еще пара сочных кобыл. Главное – чтобы формы были разные: у одной – корма как у баржи, у

другой – коленки острые. Вот это я понимаю, минимизация рисков! Пока одна пилит тебе мозг, ты уже всаживаешь свой «капитал» в другую, более доходную девку. Главное – хеджировать, чтоб они друг о друге не пронюхали, а то обанкротят к чертям собачьим.

Платон Пантелеймонович тяжело задышал, глядя на пятно извести на асфальте, которое теперь казалось ему чем-то совершенно иным.

– Диверсификация... – прохрипел он, расстегивая пояс, – пойду-ка проверю свои котировки у податливой вдовушки из третьей парадной.

Дивертисмент

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в театральном буфете, скрестив тонкие пальцы на набалдашнике трости. Его монокль отражал свет люстр с той особенной благопристойностью, какая бывает только у людей, знающих точную дату падения Западной Римской империи. Вокруг порхали кружева, пахло пудрой и дорогим табаком – мир казался упорядоченным, как алфавитный указатель к собранию сочинений Канта.

– Взгляните, душа моя, – обратился он к случайному соседу по столику, указывая на программку. – Сегодняшний дивертисмент обещает быть не просто набором номеров. Ведь что есть дивертисмент в своей первооснове? Это невинная вставка, изящное развлечение, призванное отвлечь зрителя от тяжеловесности основной драмы. Люлли и Мольер знали в этом толк. Это триумф чистой формы над содержанием, балетная легкость, заставляющая нас забыть о тщете бытия...

В этот момент за соседним столом разбился бокал. Официант, суетливый юноша, бросился собирать осколки, а полноватая дама в бархате издала короткий, гортанный вскрик испуга.

Платон Пантелеймонович замер. Глаз его за моноклем странно подернулся влагой, а голос из академического баритона перешел в вязкий шепот.

– Видали? – выдохнул он, и его ноздри хищно затрепетали. – Вот вам и дивертисмент. Вставка. Развлечение в середине акта. Ведь и баба, если разобраться по совести, – это тоже своего рода дивертисмент в скучной опере мужской жизни. Сначала она идет плавно, как менюэт, вертит задом, вся в пуху и кружевах, а потом – р-раз! И ты уже не в партере, а в какой-нибудь заплеванной камерке, где пахнет кислыми щами и невымытым телом.

Сосед по столику поперхнулся шампанским, но Похотливого было уже не остановить. Он подался вперед, и его приличный галстук опасно окунулся в соусник.

– Вы посмотрите на эту мадам в бархате. Думаете, она о Мольере думает? Черта с два! У нее в голове такой дивертисмент, что никакому Люлли не снилось. Она только и ждет, чтобы сбросить этот свой бархат, задрать юбки выше головы и орать дурным голосом в объятиях какого-нибудь мужика с потными ручищами. Ведь вся эта ваша культура – лишь тонкая корка над смрадной ямой. Дивертисмент – это когда ты между пятой и шестой стопкой водки заваливаешь эту «музу» на грязный матрас, и плевать, что у нее чулки в дырках, а изо рта несет луком и вчерашним перегаром.

Платон Пантелеймонович брызнул слюной на программку.

– Все они – суки, жаждущие мяса. И политика ваша, и погода – все это прелюдия к тому моменту, когда пах вскипает, а в голове остается только одно: как бы половчее залезть под

подол и впиться зубами в дряблое плечо. Вот вам и вся музыка, милейший. Чистый, слюнявый, потный дивертисмент с хрипом в горле! Тьфу. Дайте мне еще водки, и чтоб баба, которая принесет, была помясистее, без этой вашей балетной легкости!

Дидактика

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне, поджав губы так сильно, словно удерживал ими ускользающую истину бытия. Перед ним лежал замусоленный томик Коменского. Платон Пантелеймонович считал себя последним оплотом высокой культуры в мире, который, по его глубокому убеждению, окончательно «разболтался в петлях».

Его мысли текли плавно и величаво, как воды полноводной реки. «Дидактика, господа мои, – беззвучно шептал он, глядя на прохожих через пенсне, – есть не просто сухая сумма приемов. Это зодчество духа! Это великое искусство обучения и воспитания, где учитель – не тиран, а мудрый садовник, прививающий черенок знания к дичку невежества».

Он любовался собой. Ему казалось, что его лоб светится от избытка категорий Яна Амоса. Он размышлял о принципе наглядности: «Ведь как важно, чтобы ученик видел суть! От конкретного – к абстрактному, от простого – к сложному... Это же симфония разума!»

В этот момент за соседним столиком произошло событие, решительно выбившее Платона Пантелеймоновича из колеи идеальных форм. Официантка, неловко повернувшись, уронила поднос. Грохот разбитой чашки и визг расплескавшегося латте разрезали тишину.

– Экая... дедукция, – пробормотал Платон Пантелеймо-

нович, и его левый глаз предательски дернулся.

Он посмотрел на официантку, которая наклонилась, чтобы собрать осколки. В его голове что-то щелкнуло. Высокая дидактика начала стремительно менять агрегатное состояние, превращаясь в мутную жижу.

«Вот она, наглядность-то, – подумал он, и голос его внутренний вдруг охрип. – Наглядное пособие в чистом виде. Коменский говорил: "Ничего не должно вводиться в сознание, что прежде не прошло через чувства". А у этой... "пособия" такие, что чувства сразу в узел завязываются. Посмотрите, как она корячится! Это же классический принцип доступности обучения: объект должен быть доступен для восприятия со всех сторон. И я, как педагог-исследователь, сейчас воспринимаю этот объект в максимально удобном ракурсе».

Платон Пантелеймонович подался вперед, пенсне сползло на кончик носа.

«А возьмем последовательность и систематичность! – он почти облизнулся. – В обучении важно, чтобы одна деталь цеплялась за другую. Вот у нее чулок зацепился за край юбки – это же логическая связка! Это переход от теоретического введения к практическим занятиям. Эх, взять бы ее сейчас за эту... дидактическую единицу и провести углубленный инструктаж в темном классе. Чтобы, значит, усвоение материала прошло максимально плотно, с полным погружением в предмет».

Его мысли окончательно потеряли лоск. Взгляд Платона

Пантелеймоновича стал липким и тяжелым, как дешевый сироп.

– Ишь, выставила корму, – прошипел он под нос, уже не заботясь о Коменском. – Это тебе не параграф из учебника, тут живое мясо, так сказать, наглядный материал для фронтального опроса. Такую бабу учить – одно удовольствие: сначала теорию вдуть, чтоб аж глаза на лоб, а потом на практике закрепить, чтоб забор трещал. Дидактика, матушка, она ведь требует тесного контакта учителя с учеником. Индивидуальный подход нужен! Чтобы я ей, значит, диктовал, а она... кряхтела и записывала.

Он громко сглотнул. Интеллигентный вид Платона Пантелеймоновича окончательно испарился, оставив после себя лишь потного немолодого мужчину с сальным блеском в глазах, который через призму великой педагогики видел лишь грязные подробности воображаемого соития на школьной парте.

– Девонька! – крикнул он официантке, плотоядно ухмыляясь. – У вас тут... материал не закрепился! Подойдите, я вам сейчас принцип прочности знаний разьясню. С фиксацией!

Официантка испуганно отшатнулась, а Платон Пантелеймонович, довольный своей железной логикой, потянулся к остывшему кофе, чувствуя себя величайшим просветителем современности.

Дисания

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне с видом столь монументальным, будто под его пиджаком скрывались по меньшей мере скрижали с законами мироздания. Он созерцал утренний Санкт-Петербург сквозь пенсне, и мысли его текли величественно, словно Нил в половодье.

«Мироздание – суть хрупкий механизм, – размышлял он, подергивая бородку чин-пуф. – Посмотрите на этих прохожих. Они мнят себя свободными, но каждый – лишь винтик в детерминированной системе причинно-следственных связей. Погода нынче хмурая, циклон давит на плечи общества, предвещая стагнацию фондовых рынков и общий упадок духа».

В этот момент за соседним столиком молодая дама томно зевнула и, обращаясь к спутнику, пожаловалась: «Ах, этот утренний подъем... Настоящая дисания. Никак не могла заставить себя встать».

Платон Пантелеймонович вздрогнул. Слово «дисания» вошло в его сознание, как раскаленный гвоздь в масло.

– Дисания, мадам? – произнес он, оборачиваясь с грацией старого кота. – О, вы затронули струну глубочайшей экзистенциальной драмы. Дисания – это ведь не просто лень, как полагают профаны. Это тяжелое состояние, когда человек физически не способен покинуть постель по утрам. Это де-

фицит воли перед лицом агрессивного бытия! Медики шепчут о стрессах и депрессиях, но мы-то с вами понимаем...

Глаза Платона Пантелеймоновича подозрительно заблестели, а голос из бархатного баритона начал превращаться в маслянистое шипение.

– Ведь что такое невозможность встать? Это же чистая метафизика плоти! Вот лежит такая краля, раскидала свои мослы по простыням, одеяло на кулак намотала и сопит, как паровоз. И никакая политика ее не колышет, хоть там Трамп облезет. У нее в башке одна дисания – это когда ляжки к матрасу прикипели, и хочется, чтоб ее не в офис тащили, а чтобы кто-нибудь покрепче придавил сверху, чтоб уж точно не вставать.

Спутник дамы поперхнулся кофе, но Похотливого было не остановить. Его пенсне съехало на кончик носа.

– Вы думаете, она о вечном думает? Хрен там! Она думает, как бы еще часок поваляться, пока пот по складкам течет. Это состояние, милостивые государи, есть высшая форма порока. Дисания – это когда баба превращается в кусок теплого теста, который только и ждет, чтоб его хорошенько промесили. Какие там «психологические факторы»? Обычная чесотка в нижней чакре! Ей не будильник нужен, а чтобы какой-нибудь жеребец за загривок ухватил и из этой кроватной жижи вытряхнул. А она будет брыкаться, потная, заспанная, в слюнях вся – вот вам и вся эрудиция, вот вам и весь мировой порядок!

Платон Пантелеймонович тяжело задышал, вытер вспотевший лоб салфеткой и добавил, уже почти рыча:

– Так что, деточка, не морочьте голову терминами. Ваша дисания лечится не режимом дня, а хорошим пинком под ваш ленивый и пышный зад.

Спутник дамы, до этого момента багровевший в такт монологу, внезапно обрел моторную функцию. Он не стал прибегать к метафизике, а просто и приземленно вложил всю свою честную ненависть в правый хук.

Кулак встретился с челюстью Платона Пантелеймоновича с коротким звуком лопнувшего арбуза. Пенсне со звоном улетело в кадку с фикусом, а сам эрудит совершил изящный кульбит назад, приземлившись аккуратно в лужу пролитого кофе. Лежа на грязном паркете, он лишь плотоядно облизнулся, выплюнул осколок зуба и прошамкал:

– Вот... вот она, истинная динамика отношений... А мадам-то, поди, сразу и от дисании излечилась, глядя на такое насилие...

Дисгеника

Платон Пантелеймонович Похотливый стоял у окна своей гостиной, заложив руки за спину, как Наполеон перед Аустерлицем, если бы у того была одышка и вельветовый халат в пятнах от хереса. Взор его, затуманенный якобы великой скорбью о судьбах человечества, покоился на сером октябрьском сквере.

– О, эта энтропия духа! – шептал он, поправляя пенсне. – Взгляните, как низки облака, как понуро бредут обыватели, не ведающие, что законы биологического регресса уже затянули петлю на шее цивилизации.

Поводом для этих мизантропических восторгов послужила статья в научном вестнике о дисгенике. Платон Пантелеймонович обожал это слово. Оно звучало благородно, как название старинного коньяка, хотя означало нечто противоположное евгенике: накопление в популяции неблагоприятных признаков, ведущее к общему вырождению.

– Мы гибнем, – вещал он пустой комнате. – Умные и тонкие натуры, подобные мне, не оставляют потомства, поглощенные метафизическим поиском. В то время как низшие слои, движимые лишь инстинктом пропитания, плодятся с ужасающей скоростью, передавая по наследству вялость ума и отсутствие воображения. Это и есть дисгеника – триумф посредственности над гением через безудержное размноже-

ние дегенеративных элементов!

В этот момент внизу, на тротуаре, произошло событие: пухлая торговка апельсинами случайно толкнула проходящего мимо гражданина, разговарившего по телефону. Корзина накренилась, оранжевые плоды покатались по слякоти, и женщина, заливисто хохоча, нагнулась их собирать.

Глаза Платона Пантелеймоновича сузились. Благородная скорбь мгновенно сменилась хищным блеском.

– Вот оно! – вскричал он, прижимаясь лбом к стеклу. – Наглядная иллюстрация краха! Посмотрите на эту самку. В ее смехе – вся мощь дисгенического процесса. Она не думает о Шопенгауэре, она думает о том, как бы подцепить этого хлюпика с телефоном. А ведь посмотрите, как она наклонилась... Какая, прости господи, амплитуда таза! Это же классический тип «размноженки», готовой завалить мир своими сопливыми копиями.

Он тяжело задышал, а его мысли, еще минуту назад парившие в эмпиреях, резко спикировали в придорожную канаву.

– Ведь что такое эта ваша дисгеника на практике? Это когда бабы вроде этой, с ляжками толщиной в колонну Исаакиевского собора, выбирают не интеллектуалов, а всякое быдло с крепким кулаком. И вот они, понимаешь, забиваются в свои каморки, скидывают панталоны – а там, я уверен, все в жутких розочках – и начинают свою греховную возню. Грязища, пот, крики! Она его за уши к себе тянет, юбки до ушей

задрав, и давай штамповать будущих дворников.

Платон Пантелеймонович облизал пересохшие губы. Его манеры осыпались, как старая штукатурка.

– Генетический мусор, говорите? Да она сама – ходячий инкубатор для мусора! Видали, как она на этого прохожего зыркнула? Прямо в глаза, мол, иди сюда, дурачок, я тебе сейчас такую дисгенику устрою на сеновале, что кости затрещат. И пойдет работа: слюни, сопли, расхристанные рубахи... А мы, люди тонкой организации, вынуждены на это смотреть и констатировать смерть культуры. Тьфу! Аж в горле пересохло от таких раскладов. Пойду еще хереса хряпну, пока эти плодовые твари окончательно не выпили воздух из этой жалкой планеты своими ненасытными утробами.

Он отошел от окна, прихрамывая и бормоча что-то о «необходимости стерилизации через порочное удовольствие», окончательно забыв про Шопенгауэра.

Дискредитация

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне, скрестив ноги в идеально отглаженных брюках, и с видом утомленного демиурга взирает на суету петербургского полдня. В его руках покоился томик Шопенгауэра, хотя взгляд чаще задерживался на проплывающих мимо облаках.

– Посмотрите, – обратился он к случайному соседу по столу, едва коснувшись тонкими пальцами пенки капучино, – как безнадежно детерминировано это осеннее небо. Оно словно дискредитирует саму идею вечного лета. Вы ведь знаете, милейший, что такое истинная дискредитация? Это не просто подрыв авторитета. Это планомерное, циничное развенчание образа, когда некое явление выставляется в позорном, неприглядном свете, дабы лишить его доверия публики.

Сосед, студент с конспектами, испуганно кивнул.

– Вот возьмем мировую политику, – продолжал Платон Пантелеймонович, возвысив голос до академических низов. – Когда одно государство обвиняет другое в фиктивных грехах, оно занимается именно этим – дискредитацией институтов. Это тонкая игра смыслов, подмена высокого низким, благородного – пошлым...

В этот момент за соседним столом официантка неловко взмахнула подносом, и капля клубничного сиропа шлепну-

лась прямо на белоснежный манжет Платона Пантелеймоновича.

Похотливый замер. Глаз его дернулся. Высокий лоб прорезала вена, напоминающая трещину на защитном стекле смартфона.

– Вот! – вскричал он, тыча пальцем в пятно. – Типичный пример! Мой облик, моя экзистенциальная чистота только что подверглись вопиющей дискредитации этой неуклюжей девкой! А ведь это, если вдуматься, чистая метафизика. Вы посмотрите на нее, на эту... официанточку. Юбка короткая, как совесть казнокрада. Она же специально это сделала!

Он подался вперед, обдав студента запахом дорогого парфюма и внезапной липкой страсти.

– Они все такие, эти бабищи. Идешь по улице, думаешь о судьбах державы, а тут она – виляет филеом, дискредитируя основы морали. В голове у нее не Кант, а как бы завлечь честного интеллектуала в свои потные объятия. Это же натуральное вредительство! Вся эта их женская природа – это сплошной заговор с целью опустить нас, титанов мысли, до уровня грязных животных.

Платон Пантелеймонович внезапно оскалился, и его благородная бледность сменилась нездоровым багрянцем.

– Видели, как она наклонилась? Это же провокация! Тьфу! Сироп у нее, видите ли, капнул. Да у таких, как она, вся жизнь – это сплошное подтекание нечистоплотных желаний. Развели тут бордель под видом кофейни. Ходит, ляжка-

ми об ляжки трется, аж искры летят, и думает: «Вот сейчас я этому умнику манжет-то и загажу, чтоб он про свои книжки забыл и на мои булки вылупился».

Он вытер пятно салфеткой, но только размазал его в розовую кляксу.

– Вот и все. Была честь – и нет чести. Одна сплошная дискредитация мужского достоинства через розовую слизь. Грязные они создания, честное слово. Снаружи пудра и духи «Шанель», а копни глубже – там же бездна, в которой тонут целые флотилии здравого смысла. Все, пойду домой. Переоденусь. А то эта... кобылица... своим задом мне весь Катарсис переломала.

Платон Пантелеймонович резко встал, швырнул салфетку в блюдо и пошел к выходу, хищно и брезгливо оглядывая лодыжки проходящих мимо дам.

Дискретизация

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне, изящно отставив мизинец, и взирал на мир сквозь пенсне с той печальной мудростью, какая бывает только у людей, познавших тщету всего сущего, кроме собственного превосходства. В его голове роились мысли о судьбах цивилизации, о хрупком равновесии между хаосом и логосом.

– Мир есть стройная система, – изрек он себе под нос, поправляя пенсне. – Все в нем подчинено строгому ритму, все дробится на атомы смысла, дабы сложиться в божественную мозаику.

Перед ним на столе лежал научный альманах, раскрытый на статье «Математические основы обработки сигналов». Платон Пантелеймонович с наслаждением вчитывался в термин дискретизация. Его разум, претендующий на охват все-ленских истин, ликовал.

– Какая стройность! – восхищался он. – Ведь дискретизация – это процесс преобразования непрерывной функции в последовательность отдельных значений. Мы берем аналоговый, хаотичный мир и разбиваем его на четкие, измеримые отсчеты. Мы квантуем реальность, чтобы компьютерный разум мог ее переварить. Если частота дискретизации достаточно высока, согласно теореме Котельникова, мы не теряем ни крупинцы смысла!

В этот момент за соседний столик присела дама. Она была в узком шелковом платье и, заказывая эклер, уронила на пол кружевной платок.

Платон Пантелеймонович вздрогнул. Математическая гармония в его голове дала трещину. Он посмотрел на платок, потом на изгиб спины дамы, и его «высокий логос» начал стремительно линять, как дешевый ситец.

– Вот она, – пробормотал он, и голос его из бархатного тенора превратился в сиплый шепот. – Вот вам и живой пример... Дискретизация, понимаешь. Это ж как бабу раздевать. Ты ее вроде видишь всю целиком, аналоговую такую, плавную, а начинаешь в башке-то квантовать. Сначала лодыжку зафиксировал – первый отсчет. Потом коленку – второй. И чем чаще ты ее взглядом «дискретизируешь», тем точнее у тебя в мозгу рисуется вся ее срамная амплитуда.

Он подался вперед, задыхаясь от собственной «логики».

– Мы же что делаем? Мы непрерывную бабу превращаем в набор конкретных точек. Тырк-пырк – и готов цифровой сигнал. А если частоты не хватает, если ты, скажем, спяну ее только по верхам окинул, то получается алиасинг – наложение частот, каша в башке, и вместо приличной ляжки тебе чудится черт знает что.

Платон Пантелеймонович вытер вспотевший лоб.

– А дискретизация по уровню? Квантование! Это ж чистый разврат. Ты берешь ее выпуклости и вгоняешь в сетку значений. Ноль – это когда она в пальто, а единица – когда

уже все, приплыли, голяком на матрасе. И вот ты сидишь, высчитываешь этот шаг квантования, прикидываешь, сколько там бит на пиксель ее целлюлита выделить, чтоб картинка была сочная, как шаверма на вокзале.

Он посмотрел на даму уже совсем другими глазами – мутными и маслянистыми.

– Ишь, дискретизировалась тут, хвостом крутит... Сигнал у нее, видите ли, непрерывный. Ничего, мы тебя сейчас на сэмплы-то разберем, по всем канонам цифровой обработки. Всю твою «аналоговость» в нули и единицы превратим, пока в глазах не зарябит от этой математики, – прохрипел он, окончательно переходя на язык подворотен.

Дама, почуяв неладное, подхватила платок и ретировалась.

– Скачи-скачи, дискретная... – Платон Пантелеймонович обтер жирные пальцы о скатерть, проводив даму мутным взглядом. – Теорема Котельникова ей, видите ли, не по нраву. А ведь без меня она – просто пятно в пространстве, шум безродный. Я б из нее такую картинку вытянул, по всем точкам бы прошелся, каждый пиксель бы облизал, пока б она в моих руках в цифровую пыль не рассыпалась. Тьфу, недообразованная плоть!

Дискурс

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне «Амброзия», поджав губы так, словно удерживал ими по меньшей мере истину о прецессии равноденствий. Его пенсне, запотевшее от паров эспрессо, придавало его взгляду ту туманную глубину, которая обычно свойственна либо великим мыслителям, либо людям, окончательно запутавшимся в собственных подтяжках.

Мир вокруг казался ему несовершенным черновиком. Платон Пантелеймонович как раз размышлял о судьбах дискурса. Для него это слово было не просто термином, а священным сосудом. Дискурс, как он часто объяснял случайным попутчикам в трамвае, – это не то, что мы говорим, а та невидимая грибница смыслов, в которой мы все барахтаемся. Это речевая среда, которая диктует нам, как думать о власти, о боге и о котлетах. «Мы заперты в тюрьме языка!» – восклицал он, пугая официанток.

В этот момент за соседним столом произошло Событие. Юная дама в ситцевом платье, пытаясь достать из сумочки пудреницу, случайно уронила на пол спелый персик. Плод с сочным хлюпаньем лопнул прямо у начищенного ботинка Платона Пантелеймоновича.

Он замер. Взгляд его приклеился к растекающемуся по паркету желтому соку.

– Вот он, – прошептал Похотливый, и голос его из академического баритона вдруг перешел в сиплый дребезг. – Наглядный пример деконструкции господствующего дискурса через внезапную телесность. Вы видите это, милочка? Вы только что разрушили лингвистическую иерархию этого заведения.

Дама испуганно кивнула, пытаясь отползти вместе со стулом. Но Платона Пантелеймоновича было не остановить. Его логика, смазанная внутренним салом, понеслась под откос.

– Персик... – продолжал он, и его левый глаз начал мелко подергиваться. – Ведь это же чистая семиотика. Мы привыкли обсуждать структуру социального пространства, но забываем, что любой социальный институт – это всего лишь фасад для похоти. Понимаете? Дискурс власти – это всегда дискурс обладания! Вот вы уронили плод, и что мы видим? Мякоть. Влажную, податливую мякоть.

Он наклонился ниже, и его пенсне соскользнуло на кончик носа.

– Ведь если разобрать по косточкам любую политическую программу, там внизу, в самом подвале смыслов, сидит голая баба и жрет этот самый персик, чавкая и пуская сок по подбородку. Все эти ваши парламентские дебаты – просто прелюдия к тому, чтобы зажать какую-нибудь фигуристую секретаршу в каптерке между шкафами с архивами.

Стиль Платона Пантелеймоновича окончательно утратил интеллигентский лоск. Лицо его покраснело, а слова стали

вываливаться изо рта, как тяжелые булыжники.

– И нечего на меня zenки пучить! – рявкнул он на подбегавшего официанта. – Ты думаешь, ты тут кофе разносишь? Хрена с два! Ты обслуживаешь глобальный дискурс потребления плоти! Глянь на эту деваху – она же специально его уронила. Это же провокация, чистый соблазн в духе площадной девки. Щас она нагнется за шкуркой, задерет подол, и начнется настоящий «диалог культур». Вся ваша философия – это просто способ оправдать желание залезть под юбку и пощупать там то, что Платон, сука, великий, называл «иде-ей», а я называю горячим окороком!

Платон Пантелеймонович тяжело задышал, глядя на пятно от персика так, словно собирался немедленно принести ему человеческую жертву.

– Дискурс... – прохрипел он, вытирая пот со лба засаленным платком. – Это когда ты говоришь про Канта, а сам представляешь, как разложишь эту кобылу прямо на меню и будешь впиваться зубами в ее рыхлые...

Дама, не дослушав о рыхлых частях своей анатомии, вылетела из кофейни. Платон Пантелеймонович проводил ее мутным взглядом, поправил пенсне и снова стал приличным членом общества.

– Совершенно не умеют поддерживать интеллектуальную беседу, – вздохнул он, возвращаясь к остывшему эспрессо. – Никакой культуры мысли. Один сплошной примитивизм.

Дислалия

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне, подпирая щеку томиком Шопенгауэра, и с видом утомленного демиурга взирал на суету бытия. Его галстук был завязан столь туго, что лицо приобрело оттенок благородного баклажана, а взгляд лучился такой праведной эрудицией, что случайные прохожие невольно поправляли прически.

– Как мелко, как суетно, – шептал он, глядя на проезжающий грузовичок. – Люди бегут, не замечая гармонии сфер. А ведь мир есть лишь представление, воздвигнутое на фундаменте абсолютной идеи...

В этот момент за соседний столик приземлилась молодая пара. Юноша, нервно теребя меню, обратился к спутнице:

– Знаешь, я вче-ва был у логопеда. Он подтвевдил, что у меня дислалия. Это когда звукопвоизношение нав-вушено, хотя со слухом и интеллектом все в поведке.

Платон Пантелеймонович вздрогнул. Слово «дислалия» вонзилось в его сознание, как заноза в изнеженную ладонь сибарита. Он медленно повернулся, и его глаза, еще секунду назад полные метафизической тоски, вдруг маслянисто заблестели.

– Дислалия, говорите? – вкрадчиво начал он, переходя на тон лектора Сорбонны. – Позвольте вмешаться, юноша. Дислалия – это ведь не просто дефект артикуляции. Это эк-

зистенциальный зажим! Это когда ваш речевой аппарат – язык, губы, нёбо – отказывается подчиняться тирании общепринятых фонем. Бывает функциональная, когда уздечка коротка, а бывает механическая...

Он подался вперед, и его голос из бархатного баритона начал превращаться в липкий шепот.

– Но вы только вдумайтесь, какая в этом скрыта... плотская подоплека. Ведь что такое нарушение звука «Р» или «Л»? Это же неспособность должным образом укротить свой... язык. А язык, мои маленькие друзья, это самый неутомимый мускул в анатомии человеческих утех. Вот вы, милочка, – он уставился на ошарашенную девушку, – вы когда-нибудь задумывались, как дислалия влияет на качество, пардон, горизонтального воркования?

Стиль Платона Пантелеймоновича начал стремительно линять, как дешевый ситец под дождем. Благородная бледность сменилась красными пятнами на щеках.

– Это ж какая эротическая мощь в этом заложена! – хрипел он, уже не заботясь о Шопенгауэре. – Если баба не выговаривает «С», она ж шипит тебе в ухо, как голодная гадюка в зарослях конопли! А если у нее эта... как ее... ламбдацизм? Вместо «лампа» говорит «вампа»? Это ж сразу чувствуешь, что перед тобой не девица из библиотеки, а настоящая хищная кобыла, у которой во рту не зубы, а капканы для мужицкого достоинства!

Пара попыталась встать, но Платон Пантелеймонович

вцепился в край их стола.

– Куда вы?! Послушайте про сигматизм! Это ж когда девка шепелявит так, будто у нее полный рот горячих пельменей! Вы понимаете, какой это дает захват? Какой рельеф? Это ж не рот, это гидравлический пресс в бархатной обивке! Дислалия – это лучший подарок для кобеля. Она может сколько угодно строить из себя девственницу-невидимку, но если у нее язык заплетается на букве «Щ», значит, она создана для того, чтобы...

Юноша, наконец, обрел дар речи, схватил подругу за руку и буквально вылетел из кофейни.

Платон Пантелеймонович тяжело дышал, вытирая пот со лба томиком немецкого философа. Его взгляд упал на оставленную на столе чашку кофе с пенкой.

– Ишь, пенка... – пробормотал он, и в его глазах снова зажглось то самое, грязное и непобедимое. – Слизывала бы сейчас, заглатывая гласные... Чистая физиология, никакой метафизики, одни сплошные фрикции речевого аппарата.

Дислексия

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел на веранде кофейни, кутаясь в кашемировое пальто и взирая на мир с той печальной мудростью, которая свойственна лишь людям, прочитавшим в юности два тома Шопенгауэра и с тех пор не менявшим выражение лица. В его руках дымился раф с лавандой, а в голове роились мысли о судьбах цивилизации.

– Мир излишне визуален, – изрекал он в пустоту, поправляя пенсне. – Мы погрязли в диктатуре четких линий, в то время как истина всегда слегка размыта, как акварели Моне или моральные принципы в истеблишменте.

Его взгляд упал на маленького мальчика за соседним столом. Ребенок с мучительным усилием пытался прочитать меню, шевеля губами и путая буквы в слове «Круассан». Мать мальчика, дама с лицом строгим и нервным, шипела: «Ну что ты смотришь в книгу, как в афишу? Это же буква "К", а не "Р"!»

Платон Пантелеймонович скорбно вздохнул. В нем проснулся просветитель.

– Сударыня, – подал он голос, вскидывая палец. – Не терзайте отрока. Перед вами не лень, а дислексия – специфическая особенность восприятия, когда мозг, этот капризный художник, отказывается складывать символы в привычном порядке. Для него буквы пускаются в пляс, они меняются ме-

стами, как партнеры на балу, зеркалят друг друга, превращая текст в шифр, который невозможно взломать простым принуждением. Это расстройство нейробиологического происхождения, часто сопряженное с феноменальным творческим даром!

Мать мальчика замерла, ошеломленная напором эрудиции. Платон Пантелеймонович, почувствовав аудиторию, приосанился.

– Поймите, – продолжал он, и голос его начал неуловимо менять тембр. – Дислектик видит мир не по частям, а целиком. Ему трудно вычленить одну букву, потому что он сразу гребет все охапкой. Вот и я... я тоже, знаете ли, своего рода исследователь таких «охапок». Ведь что есть буква «Б»? Это же просто изгиб. А «В»? Два изгиба. Вот смотрю я, как этот малец мучается с текстом, и понимаю: он просто не может сфокусироваться на одной щелочке, когда перед ним целая панорама.

Он наклонился ближе к даме, и его пенсне зловеще блеснуло.

– Это ведь как с бабами, мадам. Ты ей вроде как про Канта и категорию пространства, а у самого в глазах все плывет, потому что у нее вырез такой, что там не то что дислексия – там полная алексия головного мозга случается. Буквы у него прыгают? Да у меня вчера у Зинки из химчистки так все прыгало, что я забыл, как собственную фамилию писать! Она мне: «Платон, распишись за квитанцию», а я стою как

баран, потому что у нее под халатом такие «выпуклости» и «вогнутости», что никакой алфавит не спасет.

Дама начала медленно отодвигать стул, но Похотливого было не остановить. Он уже вошел в пике.

– Это же чистая биология! Мозг клинит! Ты хочешь прочитать «хлеб», а видишь... ну, сами понимаете, что на заборе написано. Вот и я вчера: зашел к одной вдовушке чисто просветить насчет импрессионизма, а у нее чулки со стрелками. И эти стрелки у меня в башке так перепутались, что я вместо «Добрый вечер» выдал такое, от чего у кота шерсть дыбом встала. А почему? Потому что когда перед глазами такая сочная натура, буквы – это пыль! Это шелуха! Читать – это для задротов, а мы, люди с тонкой душевной организацией и крепким низом, мы воспринимаем плоть! И если у парня буквы зеркалят – значит, он уже подсознательно ищет, где бы притереться к какому-нибудь зеркалу с девкой погорячее, чтоб она его там коленками зажала так, что вся грамотность из жопы вылетела!

Мать схватила ребенка за руку и буквально вылетела из кофейни. Платон Пантелеймонович проводил ее мутным взглядом, отхлебнул остывший раф и сплюнул лавандовую крошку на пол.

– Вот и просвещай их после этого, – пробормотал он, расстегивая верхнюю пуговицу брюк. – Дислексия, понимаешь... Тяжелый недуг. Особенно когда юбка выше колена.

Дисморфофобия

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне, поджав губы с таким видом, будто лично снаряжал юного Ломоносова обозом в Москву и до сих пор ждал возврата денег за лапти. На нем был пиджак цвета «пепел угасших амбиций» и пенсне, которое держалось на переносице исключительно на честном слове и изрядной доле спеси.

– Мир, – шептал он, помешивая ложечкой дегтярный эспрессо, – есть лишь совокупность эйдосов, застрявших в липкой патоке обывательского сознания. Посмотрите на эти тучи: они громоздятся над городом, словно плохо пропеченные оладьи в руках нерадивой кухарки Судьбы. Грядет очистительный ливень, метафизическая омовение...

В этот момент за соседний столик присела молодая дама. Она была вполне миловидна, но едва коснувшись стула, судорожно выхватила зеркальце. С тихим всхлипом она принялась вглядываться в свой нос, который казался ей размером с Эйфелеву башню, хотя на деле был изящнее воробьиного клюва. Она лихорадочно пудрила воображаемое уродство, шепча: «Боже, какой кошмар, какой бугристый кошмар...»

Платон Пантелеймонович замер. Пенсне согласно звякнуло.

– Видите? – обратился он к фикусу в углу, но достаточно

громко для окружающих. – Вот оно, торжество дисморфофобии! Это психическое расстройство, любезные мои, при котором субъект заикливается на мнимом дефекте внешности. Девочка думает, что ее лицо – ландшафт после бомбежки, хотя это лишь когнитивное искажение. Она раба своего отражения, пленница кривого зеркала собственной психики. Бедняжка не понимает, что дисморфофобия – это лишь тень истинного экзистенциального ужаса перед несовершенством материи...

Он сделал глоток и вдруг его взгляд хищно заблестел. Голос из бархатного баритона превратился в хриплый шепот заборного философа.

– А ведь все почему? Потому что баба без изъяна – это как водка без закуски, скучно и в голову не бьет. Вот она мажует свой нос, дура, а не соображает, что настоящая девка должна быть с душком, с червоточинкой! Мы ж не в музее, чтоб на пропорции пялиться. Дисморфофобия эта ваша – просто ширма для того, чтоб не признавать: тянет-то нас не к греческим носам, а к мясистым ляжкам и такому перегару страсти, чтоб ажно шуба заворачивалась.

Платон Пантелеймонович подался вперед, обдавая фикус кофейным дыханием.

– Черт с ним, с носом! Пусть он хоть синий будет, лишь бы юбка короче, а помыслы жирнее. Гляньте на нее: трет щеки, мучается, просвещается в своих комплексах... А в это время настоящие бабищи, у которых тела колышутся, как

студень на поминках, и плевать они хотели на симметрию, – вот где жизнь-то кипит! Сзади подойти, по хребту погладить, чтоб она взвизгнула, как недорезанная свинья, – вот вам и вся эстетика.

Платон Пантелеймонович смачно сплюнул на паркет и плотоядно облизнулся.

– Все эти ваши «дефекты» – просто повод затащить ее в конуру и показать, что у Пантелеймоныча никакой фобии на кривые ноги нет, лишь бы давала жару, как печка в феврале. Тьфу, пудра! Слюни пускать надо, а не зеркальца протирать. Дайте мне бабу с косым глазом, лишь бы в койке была как электропила «Дружба», и я вам докажу, что любой изъян – это просто дополнительная зацепка для правильного мужика!

Он грохнул чашкой о блюдец, забрызгав манжеты, и посмотрел на плачущую даму с такой плотоядной нежностью, что та немедленно спрятала зеркальце и пулей вылетела из кофейни.

– Ушла, – констатировал Платон Пантелеймонович, возвращая пенсне на место. – Видать, осознала глубину своего несовершенства перед лицом подлинного ценителя натуры.

Диссидент

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне «Амброзия», поджав губы так, словно дегустировал саму вечность. Перед ним остывал раф с лавандой, а в руках покоился томик мемуаров, который он листал с лицом человека, лично принимавшего присягу у всех европейских монархов. Платон Пантелеймонович считал себя хранителем духа высокой культуры, последним бастионом приличия в мире, где, по его мнению, даже воробьи чирикали без должного пиетета к синтаксису.

– Взгляните на этот свет, – изрек он в пустоту, обращаясь к официанту, который вытирал соседний столик. – Какое серое, тоталитарное небо. Совершенно не барочно. Это небо давит на личность, оно ограничивает право облака на самовыражение.

Официант кивнул, думая о чаевых.

– Вот и диссидентство, – продолжал Платон Пантелеймонович, воздев палец. – Это ведь не просто политический жест. Это, батенька, экзистенциальный бунт против единообразия. Вспомните шестидесятые: Сахаров, Солженицын... Люди шли против системы, потому что их дух не умещался в прокрустово ложе государственного одобрения. Диссидент – это тот, кто говорит «нет» коллективному «да», даже если за это «нет» ему придется пить казенный чай в местах весь-

ма отдаленных.

В этот момент за соседний столик присела дама в излишне тесном трикотажном платье. Она громко прихлебнула латте, и капля молочной пены осталась у нее над верхней губой.

Глаза Платона Пантелеймоновича остекленели. Блаженный пафос начал стремительно линять, как дешевый ситец под дождем.

– Диссидент... – пробормотал он, и голос его из бархатного баритона превратился в маслянистый шепот. – Это ведь как та баба из пятой парадной, Люська. Она тоже, знаете ли, шла против системы. Все в лифчиках ходят, а она – в знак протеста, видать, – груди на волю выпустила под тонкую кофту. Вот это я понимаю, гражданское неповиновение.

Он подался вперед, забыв о лавандовом рафе.

– Вы посмотрите на этот политический строй ее бедер. Это же чистый самиздат! Такую запрещенку в приличном обществе не печатают, ее только под полой передавать, потея от восторга. А эти ее... взгляды на жизнь? Они же выпуклые, как лозунги на демонстрации! Она когда по коридору идет, у нее филейная часть так вольнодумно колышется, что сразу хочется стать политзаключенным в ее спальне.

Платон Пантелеймонович шумно втянул носом воздух.

– Вот вы говорите – Сахаров, водородная бомба... А вы видели, какая бомба у Люськи в штанах взрывается, когда она нагибается за рассыпанной картошкой? Там же такой радиус поражения – полдвора мужиков сразу в коме. Это же под-

рыв основ! Это ж такая оппозиция, что у меня лично мачта встает на защиту демократии. Она ж, сучка, когда ляжками своими в переулке мелькает, у меня вся эрудиция в штаны падает и там начинает бешено аплодировать. Вот она, истинная борьба с режимом – когда режим у тебя в штанах такой, что никакой КГБ не уложит!

Платон Пантелеймонович тяжело задышал, вытирая вспотевший лоб салфеткой. Официант уже давно исчез. Похотливый окинул зал мутным взглядом и горько добавил:

– Никакого уважения к интеллектуальному поиску. Одни бабищи на уме.

Диссонанс

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне «Элегия», придерживая мизинец над чашкой безвкусного глясе. Его облик излучал такую густую респектабельность, что даже пролетавшие мимо мухи, казалось, замедляли полет, боясь нарушить ауру интеллектуального превосходства. Платон Пантелеймонович размышлял о судьбах цивилизации.

«Мир, – думал он, поправляя пенсне, – есть лишь зыбкое марево идей, где объективная реальность пасует перед мощью субъективного восприятия. Все вокруг – лишь тени в пещере, если вспомнить старика Аристокла».

В этот момент за соседним столиком произошло нечто вопиющее. Юная дама в строгом сером костюме, запутавшись в собственных мыслях и длинных полах плаща, попыталась одновременно встать, подхватить сумочку и допить эспрессо. Результат был катастрофичен: сумочка зацепила край блюдца, и кофейная гуща живописно расплылась по ее белоснежной блузке.

– Ах, какой когнитивный диссонанс! – вскрикнула дама, глядя на пятно.

Платон Пантелеймонович встрепенулся. Слово «диссонанс» вошло в его сознание, как раскаленный лом в масло.

– Вы совершенно правы, сударыня, – пророкотал он, по-

даваясь вперед с грацией сытого удава. – Диссонанс! Величайшая трагедия разума. Ведь что это такое? Это когда ваши ожидания – чистота этой крахмальной ткани – входят в клинч с суровой правдой бытия в виде кофейного осадка. Психика страдает, она ищет оправдания, она корчится, пытаясь примирить непримиримое!

Он встал, чувствуя, как внутри закипает привычный зуд.

– Вот и в политике так же: говорят о мире, а закупают снаряды. Диссонанс? Безусловно! Но знаете ли вы, где этот разрыв между формой и содержанием достигает своего апогея? Где этот диссонанс становится поистине... сочным?

Голос Платона Пантелеймоновича внезапно утратил бархатистость, в нем послышалось хриплое придыхание. Он сделал шаг к опешившей женщине.

– Взять хотя бы вас. Вы сейчас вся такая «когнитивная», в очках и с Лотманом под мышкой. Но этот диссонанс – он же так и манит! Ведь под этим вашим серым чехлом, я уверен, скрывается не логика, а чистая, первобытная стихия. Мы тут рассуждаем о высоких материях, а я ведь вижу, как эта жижа на блузке подчеркивает то, что вы так старательно прячете за умными словами.

Он облизнулся, и его пенсне как-то подозрительно запотело.

– Истинный диссонанс – это когда такая фифа строит из себя недотрогу, а сама, небось, мечтает, чтоб ее зажали в какой-нибудь грязной подворотне между баками с мусором.

Да-да, милочка! Вся ваша эрудиция – это просто ширма для того, чтоб скрывать свои потные фантазии о волосатых мужиках. Вы же специально облились, я вас раскусил! Это же зов, это же приглашение в стойло! Хватит ломаться, я ж вижу по глазам: тебе не Кант нужен, а крепкая затрещина по мягкому месту и чтоб пахло не кофе, а перегаром и животной страстью в канаве!

Дама, побледнев, схватила сумку и пулей вылетела из кофейни. Платон Пантелеймонович проводил ее тяжелым взглядом, сел на место и снова поднял мизинец.

– Какое отсутствие пластичности ума, – вздохнул он. – Люди совершенно не умеют работать с внутренними противоречиями.

Диссоциация

Платон Пантелеймонович Похотливый стоял у окна кофейни, сложив руки за спиной с видом античного философа, наблюдающего за падением Трои. Его лорнет, некогда купленный на антикварном рынке по цене телевизора, победоносно сверкал, отражая весеннее петербургское солнце.

– Как прискорбно, – цедил он сквозь зубы, обращаясь к случайной мухе на стекле. – Человечество окончательно утратило субъектность. Мир пребывает в состоянии онтологического сиротства.

В этот момент за соседним столиком молодая дама в слишком тугой шляпке неловко взмахнула рукой и опрокинула на свои колени чашку горячего какао. Она замерла, глядя на пятно с таким видом, будто оно – дыра в иное измерение, и лишь через минуту тихо охнула.

Платон Пантелеймонович встрепнулся. Его ноздри расширились.

– Вот оно! – воскликнул он, подходя к даме с грацией старого козла. – Чистейший акт диссоциации! Вы видите, милочка? Вы отделились от собственной юбки. Ваше «Я» в ужасе бежало из этого брэнного тела, не желая признавать родства с коричневой жижей. Диссоциация – это ведь когда психика, бедняжка, говорит: «Это не со мной, я в домике, а тело пусть само разбирается с этой липкой катастрофой». Это

разрыв связей между сознанием, памятью и чувством собственной идентичности. Вы сейчас – не вы, а просто набор атомов в мокрой ткани.

Дама попыталась промокнуть пятно салфеткой, но Платон Пантелеймонович навис над ней, как грозовая туча.

– Но позвольте, – его голос из бархатного баритона вдруг стал переходить в дребезжащий фальцет. – К чему эти прелюдии? Эта ваша диссоциация – она же везде. Вот взять обычную бабу... Идешь ты, к примеру, к Зинке из второй парадной. Зинка – она ж как эта чашка. С виду – фарфор, культура, цитаты из классиков, а копни глубже – там такой кипятилок, что яйца вкрутую сварятся. И вот она лежит, глаза в потолок, и делает вид, что ее тут нет. Диссоциирует, зараза! Тело ее тут, сопит, а мысли – в Париже или за покупкой новых рейтуз.

Он наклонился ближе, обдав даму запахом дешевого табака и мятных капель.

– Ты ей, значит, про вечное, про метафизику плоти, а она как будто из розетки выключилась. «Платон Пантелеймонович, – говорит, – а не пора ли вам за чекушкой?» Тьфу! Самое натуральное расщепление личности. Снаружи – мадам, а внутри – старая хабалка, которая только и ждет, чтоб ты отвернулся, чтобы сожрать твою котлету. Женская природа – это сплошной зазор между тем, что она обещает взглядом, и тем, какой бардак у нее под подолом. Они ж все такие: ноги врозь, а душа в отпуске. Пока ты там трудишься, потеешь,

она уже диссоциировала в сторону новой шубы. Гнилое нутро под кружевами, вот что я вам скажу!

Дама, наконец, обрела дар речи, схватила сумочку и, не оборачиваясь, выбежала из кофейни.

Платон Пантелеймонович с сожалением посмотрел ей вслед через лорнет и величественно произнес:

– Опять бегство от реальности. Типичный случай потери контакта с объективной действительностью. Пойду поищу более... цельную натуру. В рюмочной на углу как раз обещали завоз свежей воблы и недиссоциированных вдов.

Дистимия

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне, подперев подбородок сухой ладонью с аккуратно подпиленными ногтями. Его пенсне отражало осеннюю петербургскую хмарь, разлитую за окном. В мыслях его царил Парфенон.

– Какая, однако, разлита в атмосфере метафизическая загроможденность, – шептал он, глядя на прохожих. – Мир пребывает в состоянии некоего затяжного недомогания, лишённого остроты великой скорби, но исполненного серой тягучести.

Платон Пантелеймонович мнил себя последним хранителем античной меры в этом мире суеты.

– Дистимия, – прошептал он в пенку своего латте. – Вот бич нашего века. Это вам не вульгарная депрессия, когда человек лежит лицом к стене и пускает слюну. Нет, дистимия – это аристократическое уныние, затяжное, как плохая погода в Лондоне. Это расстройство настроения, которое длится годами. Человек вроде бы функционирует, ходит на службу, ест суп, но внутри у него – выжженная пустыня и серый кисель.

Он обвел взглядом зал.

– Люди думают, что они просто ворчливы или меланхоличны, но на деле они в когтях хронической субдепресс-

сии. Дистимия лишает мир красок, оставляя лишь 50 оттенков серости... – тут его глаз дернулся, и в зрачке вспыхнул недобрый огонек.

В этот момент за соседним столом официант неловко взмахнул подносом, и на пол с влажным шлепком упал кусок яблочного штруделя.

Платон Пантелеймонович замер. Влажный звук падения теста пронзил его эрудицию, как ржавый гвоздь.

– Вот! – воскликнул он, обращаясь к опешившему официанту. – В этом шлепке – вся суть человеческого падения! Вы думаете, это просто десерт? Нет, это метафора того, как дистимия подтачивает моральные устои. Когда у человека годами понижен тонус, он ищет разрядки. И где он ее находит? Правильно, в самых низменных, самых склизких закоулках плоти!

Он подался вперед, его голос из бархатного баритона превратился в хриплый шепот.

– Ведь что такое баба, когда у тебя в душе этот ваш дистимический туман? Это же просто кусок теплого штруделя, который нужно смять! Я вот давеча видел одну в гастрономе – бедра такие, что в трамвайный проем боком проходит. У нее в глазах явно была хроническая печаль, а в декольте – такая бездна, что никакой Шопенгауэр не вытащит. Я ей и говорю: «Сударыня, ваше уныние требует жесткой мануальной терапии!». А она мне про цены на гречу... Дура!

Платон Пантелеймонович уже не шептал, он рычал, брыз-

гая слюной на Шопенгауэра.

– Дистимия – это когда тебе тошно, и ты хочешь, чтоб тебе стало еще тошнее, но уже в чужой постели! Все эти бабищи с их лифчиками размера «прощай, рассудок» – они же просто ходячие антидепрессанты! Взять бы эту фифу за стойкой, зажать в подсобке между мешками с сахаром, да так приложить, чтоб у нее вся дистимия из ушей вылетела! Чтоб она визжала, как недорезанная пила, пока я буду исследовать ее биологические ландшафты своими потными лапищами! Мировая политика, говорите? Да все президенты только и мечтают, как бы задрать юбку секретарше и впиться зубами в ее рыхлое, как этот штрудель, колено!

Он тяжело задышал, обводя притихшую кофейню безумным взглядом. Галстук окончательно съехал набок.

– Принесите еще кофе, – вдруг буднично произнес он, поправляя пенсне. – И позовите ту рыжую официантку. У нее, кажется, выраженный дефицит серотонина в районе поясницы. Я готов провести обследование.

Дистинкция

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне, поджав губы так сильно, словно удерживал ими рушащееся здание европейской культуры. Перед ним лежал томик Канта, в петлице поношенного пиджака гордо вял искусственный нарцисс, а в глазах, вооруженных пенсне, застыла скорбь человека, вынужденного дышать одним воздухом с профанами.

– Дистинкция, – прошептал он, пробуя слово на вкус, как редкое бордо. – Вот чего лишен нынешний век. Отсутствие тонкого различения, этой высшей способности духа отделять сущность от явления, превращает общество в невнятную кашу.

Он созерцал петербургскую улицу. За окном шел дождь, но для Платона Пантелеймоновича это был не просто «дождь», а субстанциональное проявление осени, требующее строгой классификации. Он размышлял о том, что дистинкция – это нож хирурга, отделяющий истинное благо от дешевой подделки. Мир за окном казался ему нагромождением логических ошибок.

В этот момент за соседний столик присела девица. Она была в дождевике, который противно скрипел, и с аппетитом вгрызлась в эклер. Капля крема коварно повисла на ее подбородке.

Платон Пантелеймонович вздрогнул. Его философский аппарат дал сбой, шестеренки заскрежетали.

– Вот! – воскликнул он, обращаясь к испуганной официантке. – Наглядный пример отсутствия дистинкции! Посмотрите на этот эклер. В нем заложена дуалистическая природа: хрустящее тесто и податливая начинка. Но понимает ли эта особа разницу? Нет! Она смешивает их в хаотическом экстазе. А ведь дистинкция – это прежде всего умение видеть границы.

Он подался вперед, глаза его подозрительно заблестели.

– Знаете, где дистинкция важнее всего? В женщинах. О, тут нужен глаз-алмаз! Вот возьмем, к примеру, среднестатистическую бабу. С виду – фифа в юбке, чистая метафизика, а копни глубже – сплошная физиология. Дистинкция между «дамой» и «бабищей» пролегает не по линии образования, а по тому, как у нее ляжки при ходьбе трутся.

Голос Платона Пантелеймоновича внезапно охрип, приобретая неприятный, сальный оттенок.

– Сидит такая, губы уточкой, а сама небось думает, как бы ей половчее хахаля за шиворот затащить. Различать надо! Одна – как старая кляча, только овса просит, а другая – чистая девиация. Вчера вон у пивного ларька стояла такая... филологиня, прости господи. Юбчонка – одно название, дистинкция между задом и тротуаром практически стерта. Я ей говорю: «Мадам, в вас нет структурной четкости». А она мне что?

Платон Пантелеймонович сплюнул на паркет и вытер рот рукавом пиджака.

– А она мне: «Слышь, очкарик, вали отсюда, пока я тебе четкость на морде не нарисовала». Стерва. А у самой вырез такой, что там не то что Канта – там черта лысого потерять можно. Потная, рыжая, пахнет как немывтый чебурек, но зато какая экспрессия! Вот где истинная природа вылезает, когда вся эта культурная шелуха осыпается, как штукатурка в борделе. Все они, в сущности, одинаковые, если дистинкцию-то отбросить и до мяса добраться...

Он замолчал, тяжело дыша и глядя в пустую чашку, где на дне плавала муха, тщетно пытающаяся отделить себя от липкого сиропа.

Дисфемизм

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне, поджав губы с видом античного философа, случайно высаженного на берега эпохи, где фарфор заменили биоразлагаемой целлюлозой. Взгляд его, подернутый дымкой экзистенциальной грусти, покоился на томике Кьеркегора, хотя мысли витали в сферах куда более возвышенных. Он размышлял о судьбах цивилизации, о закате Европы и о том, как неудачно подобрана колористика штор в этом заведении.

– Взгляните на этот барометр, – изрек он в пространство, обращаясь к юноше за соседним столом. – Давление падает. Атмосфера сжимается, точно пружина истории. Мы стоим на пороге великого оледенения духа. Скоро все покроется инеем забвения.

Юноша кивнул, опасаясь вступать в дискуссию с человеком, который таскает с собой Кьеркегора и имеет бородку, напоминающую мефистофелевскую.

В этот момент за окном произошло событие ничтожное, но фатальное: полная дама в ярко-зеленом плаще поскользнулась на банановой кожуре. Она не упала, но исполнила серию сложных, панических движений корпусом, пытаясь удержать равновесие.

Глаза Платона Пантелеймоновича вспыхнули недобрым, фосфорическим блеском.

– Вот оно! – воскликнул он, подавшись вперед. – Вы видели этот зигзаг? Это же чистейший дисфемизм реальности. Ведь что такое дисфемизм, мой юный друг? Это когда мы заменяем нейтральное или вежливое обозначение чем-то намеренно грубым, зловонным, бьющим наотмашь. Мы могли бы сказать «неловкое движение», но природа сама выплевывает нам в лицо «нелепую судорогу туши».

Он сделал глоток остывшего кофе и перешел на доверительный шепот, от которого у соседа задержалось веко.

– И ведь так во всем. Вся мировая политика – это сплошной дисфемизм. Мы говорим «геополитический интерес», а на деле это просто чесотка в паху у стареющих вождей. Но позвольте, – голос его вдруг охрип и упал на октаву ниже, – разве женщина в своей сути не есть главный дисфемизм Творца?

Платон Пантелеймонович облизал губы, и маска эрудита начала медленно сползать, обнажая нечто рыхлое.

– Посмотрите на эту корову в зеленом. Она же не просто поскользнулась. Она продемонстрировала нам механику грехопадения. Вся эта их женская натура – сплошная подмена понятий. Называют себя «музами», а копни глубже – там же пот, липкие складки и вечное желание затащить тебя в стойло. Эта мадам в плаще сейчас извивалась, как дешевая шлюха на заплеванном матрасе в портовом притоне, когда ей не доплатили пятак.

Он окончательно отставил Кьеркегора и перешел на хрип-

лый лающий тон:

– А погода? Давление падает, говорите? Да это просто небеса раздвинули ноги, готовясь излить на нас всю свою скотскую сырость. Мир – это не храм, это зассанная подворотня, где каждая туча – грязная баба, мечтающая опорожниться тебе на шляпу. Дисфемизм, батенька! Вместо «дождя» – небесная слякоть, вместо «любви» – судороги в казенных простынях. Все они такие: морду напудрят, цитатами обложатся, а внутри – только склизкое мясо и жажда вытянуть из тебя жилы, пока ты рычишь в их потные подмышки.

Платон Пантелеймонович тяжело задышал, глядя в пустоту остекленевшим взглядом. Юноша поспешно ретировался, оставив недопитый латте. Похотливый проводил его презрительным взглядом и буркнул себе под нос:

– Тоже мне, эстет. Еще один прыщавый кобель, не знающий вкуса настоящей помойки.

Дисфория

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне, поджав губы с таким видом, будто само мироздание задолжало ему за право созерцать его профиль. В его мыслях все дышало античным величием: кофе был не просто напитком, а амброзией, пропущенной через фильтр экзистенциального томления. Он размышлял о судьбах цивилизации, о том, как энтропия медленно подтачивает колонны европейского духа, и как он, Платон, остается последним атлантом, удерживающим небосвод приличия.

За соседним столиком сидел молодой человек. Он не пил кофе. Он истязал салфетку, терзал ложечку и смотрел на сахарницу с такой лютой ненавистью, будто та была виновна в падении Трои. Это была она – дисфория.

Платон Пантелеймонович, заметив это, приосанился. Он знал, что это за зверь. Это состояние – не просто плохое настроение, а глубокая, болезненная озлобленность. Когда мир кажется не просто серым, а личным оскорблением.

При дисфории человек не грустит, он аккумулирует внутри себя ядовитый кисель из тоски и агрессии, готовый выплеснуться вспышкой гнева на любого, кто неосторожно звякнет чашкой. Это мрачное, напряженное недовольство всем сущим, где каждая мелочь становится детонатором для аффективного взрыва.

Молодой человек вдруг сорвался: он швырнул ложечку на пол и прошипел официанту нечто столь злобное, что даже фикус в углу пожелтел.

– Видите? – обратился Платон Пантелеймонович к пустой чашке, а затем и к случайному соседу. – Типичный пример. Человек во власти дисфории. Его дух стеснен, его желчь кипит, он ищет врага в каждом атоме воздуха. Это же чистая метафизика недовольства! Но позвольте, разве эта агрессия не есть лишь сублимация?

Он подался вперед, и его глаза масляно блеснули.

– Ведь если вдуматься, – голос Платона стал тише и вязче, – вся эта ваша «дисфория» – от недобора. Вот парень бесится, зубами скрипит, на сахарницу кидается. А почему? Потому что нет в нем того огня, который дает бабья плоть, тяжелая, как деревенский творог. Ему бы не таблетки пить, а завалиться к какой-нибудь Людке из овощного. Чтобы она его, доходягу, придавила своими необъятными телесами, чтоб потом от него несло не депрессией, а перегаром и дешевыми духами «Шанс».

Платон Пантелеймонович облизнул губы, и его эрудиция окончательно дала трещину.

– Гнев у него, видите ли! Да какой там гнев. Просто чешется у парня не в том месте. Ему бы бабу такую, шоб кожа гармошкой, шоб коленки хрустели, когда она его в узлы вяжет. А он тут салфетки рвет. Я вот тоже, бывает, злюсь, но я-то знаю: это все оттого, что вчерашняя мадам была сухова-

та, как старая вобла. А когда баба сочная, когда у нее ляжки такие, что пальцы тонут, – никакой дисфории не будет, один только голый пот и благодать. Тьфу, сопляки. Развели тут медицину, а делов-то – задрать юбку повыше да вмяться поглубже в эту липкую человеческую слякоть...

Он замер, уставившись в свою пустую чашку с видом триумфатора, который только что доказал теорему Ферма, используя вместо цифр исключительно анатомические подробности рыночных торгов. В углу кофейни повисла тяжелая, как сырое одеяло, тишина.

Диффамация

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне «Амброзия». Его лицо выражало ту степень интеллектуального страдания, которая обычно предшествует либо написанию трактата, либо заказу третьей порции коньяка. Он созерцал мир через пенсне, полагая, что Вселенная – это лишь черновик, присланный ему на правку.

«Мироздание глубоко дефектно в своей основе, – думал Платон Пантелеймонович, брезгливо помешивая ложечкой воздух над чашкой. – Даже облака сегодня плывут с каким-то плебейским отсутствием композиции. А ведь в этом хаосе скрыта тончайшая материя репутационных рисков».

Он как раз размышлял о том, что современное общество совершенно утратило вкус к изящной клевете, когда за соседним столиком произошло Событие. Молодой человек в нелепом худи, потянувшись за сахаром, случайно опрокинул на платье своей спутницы бокал лимонада и, покраснев, пробормотал: «Ой, извини, я такой неуклюжий, прямо как тюлень в брачный период».

Платон Пантелеймонович вздрогнул.

– Вот оно! – воскликнул он, внезапно подавшись вперед и обращаясь к опешившему юноше. – Молодой человек, вы сейчас совершили акт чистейшей диффамации! Вы понимаете, что вы натворили? Диффамация – это ведь не просто

распространение сведений, порочащих честь. Это инструмент Бога! Вы публично заявили о своей схожести с ластоногим, тем самым понизив свой социальный статус до уровня обитателя прибрежных льдин.

Юноша попытался вставить слово, но Платона Пантелеймоновича уже несло по кочкам его собственного воспаленного сознания.

– Вы думаете, диффамация – это юридический термин? Ха! Это прелюдия! Вот взять, к примеру, Клавдию из третьей парадной. Позавчера я сказал дворнику, что ее манеры напоминают поведение портовой девки при виде иностранного судна. Это ли диффамация? Юридически – безусловно, ведь сведения ложны, так как девка в порту хотя бы чистит зубы. Но по сути!

Голос Похотливого стал сиплым, а интеллигентская маска начала таять, обнажая нечто подозрительно напоминающее физиономию подвыпившего сатира.

– Ведь к чему ведет любая порочащая информация? К тому, что баба, будучи припертой к стенке общественным мнением, становится податливей, как мокрый картон! Если я распушу слух, что эта Клавдия крутит шашни с половиной нашего многоквартирного дома, она, чтобы оправдаться, придет ко мне. И вот тогда, милейший, начинается самый смак. Вся эта шелуха про «диффамацию» слетает, и остается только голая, потная правда жизни.

Он задышал тяжело, его глаза маслянисто заблестели.

– Вы ей про «ущемление достоинства», а она вам – коленкой в бок! А вы ей: «Милочка, да о вас в газетах пишут, что вы в отелях с дальнобойщиками в лото на раздевание режетесь!» Она в слезы, мол, диффамация, ложь, поклеп... А сама уже пуговицу на блузке теребит. Потому что баба, когда ее в грязи вываляешь словесно, она будто роднее становится. Сразу понимает: мы с ней одного поля ягоды, оба из сточной канавы. И вот тут-то, когда ее репутация трещит по швам, как старый чепчик на толстой кухарке, наступает время для настоящего мужского разговора. Без всяких там реверансов. Хвать ее за филейные части – и какая там нахрен защита чести, когда у нее в глазах уже искры от собственного бесчестия прыгают!

Платон Пантелеймонович окончательно расхристался, галстук съехал набок, а из угла рта вытекла тонкая струйка слюны.

– Так что лей, парень, лимонад! Ори, что ты тюлень! Глядишь, и она в ответ признается, что она старая выдра. А там, в этой звериной возне, и до дела дойдет. Главное – побольше грязи на вентилятор, чтоб воняло на весь квартал, тогда и девки будут сговорчивее, и жизнь заиграет сочными красками питерской подворотни!

Он замолчал, тяжело отдуваясь. Молодая пара, охваченная тихим ужасом, стремительно ретировалась. Похотливый обвел зал победным взглядом, поправил пенсне и снова стал приличным членом общества.

– Диффамация, – прошептал он нежно, – это лучший афродизиак, придуманный юриспруденцией.

Дифференциация

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне, подперев подбородок сухой ладонью, и с видом византийского летописца созерцал суету петербургского перекрестка. Его пенсне отражало осеннее небо, а в уме роились конструкции столь возвышенные, что обыватель непременно почувствовал бы себя букашкой.

«Мир есть упорядоченное целое, – размышлял он, поправляя крахмальный воротничок. – Но красота его – в вечном дроблении. В умении различать оттенки бытия там, где невежда видит лишь серую массу».

В этот момент за соседним столом официант, неловко взмахнув подносом, уронил блюдо. Фарфор разлетелся на дюжину острых фрагментов. Платон Пантелеймонович вздрогнул, и в его глазах вспыхнул странный, лихорадочный огонек.

– Вот она! – провозгласил он, обращаясь к испуганному юноше в фартуке. – Чистейшая дифференциация! Вы только вдумайтесь, молодой человек, в масштаб произошедшего. Дифференциация – это не просто деление целого на части по определенному признаку. Это фундамент эволюции. Когда единая клетка распадается на специализированные ткани, когда абстрактное благо делится на конкретные добродетели – это триумф порядка над хаосом!

Он подался вперед, понизив голос до заговорщицкого шепота, и его благообразный облик начал стремительно плыть, как дешевый грим бродячего актера.

– Ведь и в жизни, знаете ли, все так. Нельзя просто сказать «женщина». Это дилетантство! Нужно дифференцировать их по функциональному признаку, по, так сказать, качеству отделки. Вот возьмем, к примеру, Люську из пятой парадной. У нее же эта самая дифференциация на морде написана: левый глаз косит на бутылку, а правый – на чей-нибудь гульфик.

Платон Пантелеймонович шумно втянул носом воздух, его галстук съехал набок.

– Тут ведь какой признак разделения? Плотский! Одна баба – для парада, чтобы духами воняла на всю залу, а другая – чисто для употребления в темном углу, как рваная калоша. Разделяй и властвуй, как говорили древние! Глядишь на нее, вроде целое существо, а начнешь дифференцировать: тут у нее филе, там – вымя, а вместо души – сплошная чесотка и желание страсти с тебя на чекушку.

Он уже почти кричал, брызгая слюной на скатерть. От прежнего эрудита не осталось и следа – за столом сидел помятый тип с сальными глазами.

– И погода ваша – тоже дрянь дифференцированная! Дождь каплет, как из прохудившегося крана в борделе. Разделили небо на тучи, а тучи – на помои. Тьфу! А Люську я все равно разделаю по косточкам, такая уж у меня научная

база под это подведена...

Платон Пантелеймонович икнул, схватил со стола осколок блюда и принялся ковырять им в зубах, окончательно погрузившись в пучину своих железобетонных, но крайне дурно пахнущих умозаключений.

Диффузия

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне, сжимая тонкими пальцами фарфоровую чашку так, словно это был пульс самой истории. Его лоб, испещренный морщинами высокого интеллектуального достоинства, отражал свет люстры. Вокруг колыхалась петербургская суэта: дамы в джинсах, господа со смартфонами – копошение белковых тел, не подозревающих о движении мирового духа.

«Как жалка эта предсказуемость бытия, – думал Платон Пантелеймонович, глядя на прохожих сквозь пенсне. – Все в мире подчинено невидимым токам, великому закону всеобщего проникновения. Мы лишь атомы в хаосе, стремящиеся к равновесию».

В этот момент за соседним столиком неловкий официант задел поднос, и капля густого вишневого сиропа упала в стакан с водой, стоявший перед невзрачной дамой. Платон Пантелеймонович замер. Красное облако медленно, лениво стало расплзаться в прозрачной среде, меняя структуру жидкости.

– Взгляните! – воскликнул он вдруг, обращаясь к оторопевшей даме. – Вы созерцаете триумф диффузии! Это же чистая поэзия физики: процесс взаимного проникновения молекул одного вещества между молекулами другого. Заметьте, без всякого внешнего воздействия, лишь за счет тепло-

вого движения частиц! Концентрация стремится к однородности по всему объему. Это как энтропия, мадам, как неизбежность!

Дама испуганно кивнула, пытаясь отодвинуться, но Платона Пантелеймоновича уже несло по крутым склонам его воспаленной логики. Голос его стал тише, а в глазах зажегся нехороший, масляный блеск.

– И ведь так во всем, – пробормотал он, наклонясь к ее уху. – Диффузия – она ведь не только в стакане. Она в самой сути межчеловеческого трения. Вот вы сидите, такая вся из себя дистиллированная, а частицы окружающего смрада уже лезут в ваши поры. Это же чистая физиология, милочка. Сначала мы говорим о градиенте концентрации, а потом – бац! – и ты уже чувствуешь, как в твое личное пространство диффундирует какой-нибудь потный мужик в трамвае.

Он облизнул губы, и его лексикон начал стремительно осыпаться, как старая штукатурка.

– Бабы – это же идеальная среда для проникновения. У них же вся натура заточена под то, чтоб в них что-то растворялось. Сидит такая кошелка, строит из себя недотрогу, а внутри у нее молекулы уже так и прыгают, так и чешутся, чтоб с кем-нибудь перемешаться. Это же закон природы, дура! Чем выше температура, тем быстрее диффузия. Разгорячилась в танце – и все, считай, плотность упала, поры раскрылись, принимай гостей.

Платон Пантелеймонович уже почти шипел, брызгая слю-

ной на кружевной воротничок соседки:

– Ты думаешь, ты духами надушилась для запаха? Нет, ты создала зону высокой концентрации, чтоб заманивать самцов на молекулярном уровне. А потом происходит диффузия тел в темной парадной, где все это ваше «высокое» превращается в обычное хлюпанье и перемешивание жидкостей. Взаимное, так сказать, проникновение в антисанитарных условиях. Природа не терпит пустоты, она хочет, чтоб я в тебя диффундировал прямо здесь, на этом липком столе...

Дама с визгом вскочила и бросилась к выходу. Платон Пантелеймонович проводил ее мутным взором, поправил пенсне и брезгливо вытер рот платком.

– Невежество, – вздохнул он. – Совершенное непонимание фундаментальных законов физики.

Дихотомия

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне «Элегия», придерживая мизинец над чашкой глясе так высоко, будто надеялся зацепить им пролетающее мимо облако возвышенных смыслов. Его крахмальный воротничок резал подбородок, но Платон Пантелеймонович терпел – за приличие всегда нужно платить дискомфортом.

Взгляд его, затуманенный метафизической грустью, покоился на витрине.

«Мир, – думал он, – есть не что иное, как великая дихотомия. Вечное разделение на субъект и объект, на дух и плоть, на "А" и "не-А". Посмотрите на этот сахар: он бел, как невинность, но сладок, как грех. Вот она, дуалистическая природа бытия! Мы зажаты между Сциллой формы и Харибдой содержания. Дихотомия – это не просто развилка, это кость в горле мироздания, заставляющая нас вечно выбирать между правым и левым, между небом и...»

В этот момент за соседним столиком официант, неловко взмахнув подносом, уронил на пол фарфоровую сахарницу. Белый песок рассыпался по грязному кафелю, а крышечка, издав жалобный звон, укатилась под ботинок Платона Пантелеймоновича.

Он вздрогнул. Брови его поползли вверх, к залысине, а в глазах блеснул нехороший, желтоватый огонек.

– Извольте видеть! – громко произнес он, обращаясь к испуганному юноше в фартуке. – Типичный пример распада единства. Дихотомия в действии! Сахар был в сосуде, теперь он вне его. Это же чистая онтология: разделение на внутреннее и внешнее. А ведь всякая женщина, милейший, устроена точно так же. Она – сосуд, но с двойным дном и протекающей крышей.

Платон Пантелеймонович наклонился вперед, и его крахмальный воротничок наконец предательски хрустнул. Голос стал тише и приобрел вязкость пережаренного сиропа.

– Ты думаешь, это просто сахар? Нет, это метафора распущенности. Вот так и бабы: снаружи напудрятся, финтифлюшек нацепят, строят из себя недотрог – дихотомия, мать ее! А копни глубже, под этот их «фарфор» – так там такая сырость и труха, что хоть святых выноси. Разделение на «да» и «нет» у них чисто номинальное, как на заборе написано.

Он огляделся, убеждаясь, что дама за соседним столиком слышит каждое слово. Его лицо пошло багровыми пятнами.

– Взять хоть погоду. Сегодня солнце, завтра дождь. Дихотомия? Хрена с два! Это бабья натура. Сначала она тебе улыбается, зубы свои виниловые скалит, а через пять минут уже воеет, как сука на помойке, потому что ты ей туфли не того оттенка навоза купил. Они же все внутри как этот рассыпанный сахар – липкие, противные, и хрен ты их обратно в пачку соберешь. Каждая мнит себя королевой, а на деле – только и ждут, чтоб какой-нибудь хмырь их за углом об ко-

лено...

Платон Пантелеймонович смачно сплюнул на пол, прямо в сахарную кучу, и вытер рот засаленным обшлагом пиджака, окончательно позабыв о мизинце и «Элегии».

– Дихотомия у них, видишь ли... Одна половина бабы хочет в церковь, а вторая – чтоб ее в кабаке за вихры таскали. И обе половины, заметь, одинаково воняют дешевыми духами и селедкой. Тьфу, срамota!

Официант поспешно отступил, а Платон Пантелеймонович, тяжело дыша, уставился в свою чашку, где в талом мороженом плавала какая-то подозрительная муха, идеально дополняя описанную им картину мира.

Доктрина

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне, скрестив ноги с той изысканной небрежностью, которая свойственна лишь людям, чья библиотека превышает три тысячи томов. Его пенсне отражало осеннее петербургское солнце, а в мыслях царила стройная симфония метафизики. Он смотрел на мир как на сложную систему эманаций, где каждый лист, упавший на мокрый асфальт, был лишь бледной тенью Идеи.

– Посмотрите, душа моя, – обратился он к официанту, едва коснувшись пальцем фарфора, – как природа стремится к упорядоченности. Это ведь чистый логос!

Событие, погубившее этот оазис духа, было ничтожным: у соседнего столика дама в строгом сером костюме уронила на пол брошюру, в заголовке которой мелькнуло слово «доктрина».

Платон Пантелеймонович восторженно вскрикнул. Его взгляд, еще секунду назад блуждавший в эмпиреях, хищно зацепился за этот термин.

– Ах, доктрина! – воскликнул он, и голос его приобрел ту вкрадчивую хрипотцу, от которой у филологических дев обычно случается мигрень. – Это есть руководящий теоретический или политический принцип, учение, научная или философская теория. Возьмем, скажем, «Доктрину Монро».

Знаете ли вы, друзья мои, что этот документ 1823 года – вершина политического кокетства? «Америка для американцев!» – провозгласил Джеймс Монро. Он выставил вокруг своего континента забор, заявив Европе: «Руки прочь, старые греховодники, здесь мы будем хозяйничать сами». Это же чистейшей воды изоляционизм, возведенный в ранг государственной религии.

Он наклонился вперед, и его пенсне зловеще блеснуло.

– Но всмотритесь в суть! Что такое эта доктрина, как не инстинкт старого ревнивца, который запер молодую жену в спальне и заколотил окна досками? «Не смейте вмешиваться в наши дела в Западном полушарии!» – кричит он. А сам-то? Сам-то Монро прикрывался благочестием, а в это время его доктрина медленно расстегивала пуговицы на юбках соседних республик. Это ведь, господа, самый настоящий политический абюз. Сначала он говорит: «Я защищу тебя от этих грязных испанских конкистадоров», а сам уже тянет свои лапы к Панамскому перешейку.

Тон Платона Пантелеймоновича начал стремительно терять светский лоск. Эрудиция сменилась чем-то липким и тяжелым.

– Ведь доктрина эта – она как баба в корсете. С виду – неприступная скала, демократия, свобода, высокие идеалы. А на деле – залезь ей под подол, и там найдешь только желание, чтоб ее пожестче экспансировали. Все эти зоны влияния – это же просто прелюдия! Монро хотел единоличного

права лапать эти Карибы, пока они визжат от восторга. Европа-то облизывалась, а он им – шиш! Мол, это мой кусок мяса, я его буду мариновать.

Официант попятился. Платон Пантелеймонович уже не шептал – он почти рычал, и слюна в углу его рта окончательно разрушила образ ценителя высоких литературных жанров.

– И вот они все такие, эти доктрины. Строят из себя девственниц в закрытых пансионатах, а сами только и ждут, когда придет какой-нибудь Тедди Рузвельт с большой дубиной. Да любая баба, как и эта ваша Америка, мечтает, чтоб ее обнесли забором и начали жестко доминировать в рамках отдельно взятого полушария. Им же не политика нужна, им нужен крепкий геополитический захват за ляжки, чтоб аж кости хрустели, и никакой посторонний глаз в эту спальню не заглядывал...

Он замолчал, тяжело дыша. На столике остывал кофе, а дама в сером костюме спешно покидала кофейню, забыв зонтик. Платон Пантелеймонович посмотрел ей вслед и добавил совсем тихо, по-хозяйски:

– Ишь, пошла... Изоляционистка. Тоже, поди, ждет своей аннексии.

Доктрина Срамного Детерминизма

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне «Амброзия», поджав губы так сильно, словно удерживал ими рухнувший фронт мировой интеллигентности. Его пенсне, казалось, само по себе излучало скепсис в отношении пролетающих мимо воробьев и общей неустроенности бытия. В руках он держал свежий номер «Вестника Метафизики», а в голове – грандиозный план по спасению человечества от пошлости через осознание Высшего Порядка.

– Взгляните на этот закат, – прошептал он своему отражению в витрине. – Какая чистота линий! Какая строгая, почти монашеская аскетичность в распределении охры и ультрамарина. Мир – это геометрическая теорема, требующая лишь достойного доказательства.

В этот момент за соседним столиком произошло событие библейского масштаба: полная дама в кричащем пунцовом капоре, потянувшись за эклером, неловко задела чашку. Коричневая жижа с чавкающим звуком выплеснулась на белую скатерть, образовав бесформенное, неприличное пятно.

Платон Пантелеймонович вздрогнул. Его левый глаз мелко задергался.

– Ха, – выдохнул он, и голос его из бархатного баритона превратился в сухой шелест. – Вот оно. Детерминация в действии. Вы видите это пятно? Вы думаете, это просто неосто-

рожность? О нет, друзья мои, это проявление моей великой и непоколебимой Доктрины Срамного Детерминизма.

Он подался вперед, впиваясь взглядом в случайного соседа по столу.

– Суть Доктрины проста, как грех, и фатальна, как алименты. Она гласит: любая макроструктура Вселенной, будь то парад планет или падение курса юаня, неумолимо стремится к образу и подобию низменного соития. Все в мире – лишь прелюдия к тому, чтобы кто-то кого-то употребил в темном углу. Это фундаментальный закон природы: энергия не исчезает, она просто трансформируется в чесотку между ног.

Платон Пантелеймонович сорвал пенсне. Его лицо покраснело, а эрудиция начала стремительно осыпаться, обнажая нечто серое и липкое.

– Посмотрите на этот кофе на скатерти! Это же аллегория. Темная, горячая субстанция внедряется в девственную белизну ткани. Вы скажете – неопрятность? Не смешите мои седые фаберже! Это вождение! Даже погода, черт бы ее драл... Вы думаете, почему дождь идет? Это тучи трутся друг о друга в небесном экстазе, пока не спустят влагу нам на лысины. Мировая политика? Да бросьте вы свои байки про геополитику. Все эти саммиты – просто куча мужиков в дорогих костюмах, которые меряются длиной своих... амбиций, чтобы в итоге завалить какую-нибудь практикантку в Овальном кабинете.

Он перешел на хриплый полусшепот, брызгая слюной на скатерть.

– Вся история – это история не вымытых вовремя простыней. Наполеон шел на Россию, потому что ему в Париже недодали, и он решил отодрать всю Европу разом. И эта баба с эклером... Видите, как она его в рот пихает? Это же чистый срам! Вся ее жизнь, весь ее «детерминизм» – в этом заглатывании крема, потому что в башке у нее – одна только похоть и мечта о пьяном матросе в портовом кабаке. Весь космос – это одна большая, потная, копошащаяся куча, где звезды – лишь прыщи на заднице мироздания!

Платон Пантелеймонович замолчал, тяжело дыша. На губе у него закипела белая пена. Дама в пунцовом капоре поспешно ретировалась, оставив недоеденный эклер, который в глазах Похотливого выглядел теперь как неоспоримое доказательство конца света.

– Официант! – гаркнул он, окончательно теряя человеческий облик. – Убери эту срамную жижу со стола. Глядеть тошно, как она тут разлеглась, манит...

Достоевизм, достоевщина

Осенний Санкт-Петербург исходил мелкой, въедливой хворью. Платон Пантелеймонович Похотливый стоял у окна пельменной «FM», благородно скрестив пальцы на набалдашнике трости. В его мыслях царил строгий, почти монастырский порядок. Он созерцал прохожих сквозь призму высшего гуманизма, размышляя о фатуме, очищении страданием и метафизическом надломе русской души.

– Настоящая достоевщина, – прошептал Платон Пантелеймонович, поправляя пенсне. – Весь этот город – клиника духовного непокоя. Какое глубокое, трагическое явление этот достоевизм. Это ведь не просто сюжеты. Это обнажение подполья человеческой психики. Человек Достоевского всегда стоит на краю бездны. Он упивается своим падением. Бунт против рации, вечный поиск Бога через самую темную, глухую греховность. Преступление как единственный способ проверить границы личной свободы. И следом – неизбежное, сладострастное самобичевание. Какая великая диалектика духа! Как тонко Николай Гаврилович... виноват, Федор Михайлович уловил этот надрыв! Либо ты тварь дрожащая, либо право имеешь. Третьего пути славянская ментальность не предполагает.

В этот момент пухлая буфетчица Зинаида, проносившая мимо поднос с чаем, круто повернулась. Сдобный, горячий

ватрушечный бок Зинаиды случайно задел плечо погруженного в думы мыслителя.

Платон Пантелеймонович вздрогнул. Взгляд его мгновенно остекленел, а высокопарная бледность сменилась багровым румянцем.

– Вот! Вот оно, живое подтверждение! – завел он, сперва тихо, но быстро набирая обороты на весь зал. – Произошло столкновение миров. Зинаида, вы сейчас совершили акт чистейшей Достоевщины. Ведь что есть этот ваш внезапный толчок бедром? Это классический надрыв! Вы, Зинаида, в данный момент являете собой образ Сонечки Мармеладовой. Вы тоже пошли по желтому билету бытия, продавая этот суррогатный кофе ради пропитания своих пьющих родственников. Но подсознательно вы жаждете падения. Ваша плоть бунтует против метафизического застоя. Вы толкнули меня, потому что ваша раскольниковская натура ищет топора. А топор в контексте современной половой диалектики – это жесткий, бескомпромиссный блуд.

Посетители кофейни побросали ложки. Платон Пантелеймонович сорвал пенсне и пошел на буфетчицу грудью, активно жестикулируя.

– Логика тут железная, господа! Посмотрите на эти тугие, налитые грехом формы. Это же Настасья Филипповна в момент катарсиса. Она хочет, чтобы ее бросили в камин вместе с пачкой сотысячных купюр. Вся эта ваша Достоевщина сводится к одной простой, шкурной истине. Русская душа

тоскует по хорошей, ядреной порке в номерах. Все эти мытарства, Раскольниковы, Карамазовы – просто сублимация. Митенька Карамазов почему страдал? Да потому что Грушенька крутила перед ним задом, а у него бабок не хватало на нормальный, скотский разгул с цыганами и бабами! Весь этот питерский сплин – от обычного недотраха. Погода шепчет, грязь хлюпает, бабы юбками шуршат. Какое там право имеешь? Ты пойди, Сонька, задери подол-то, покажи свое истинное подполье! Хватит ломаться, как Мармеладов перед чаркой. Давай сюда свои карамазовские страсти, Зинка, тащи корыто, будем тонуть в блюде, как шведы под Полтавой!

Зинаида молча взяла мокрую тряпку для столов и наотмашь перетянула Платона Пантелеймоновича по вдохновенному лицу. Приличная публика замерла.

Похотливый блаженно зажмурился, слизал с губы каплю грязной воды и прохрипел:

– Гениально... Истинное очищение страданием. Точно по Федору Михайловичу. Пойдемте же в каморку, бесстыдница, я буду каяться.

Евразийство

За окном кофейни «Бристоль» плыл чинный, благопристойный петербургский вечер. Платон Пантелеймонович Похотливый сидел у окна, прихлебывая липовый чай микроскопическими глоточками. Его благородный лоб, казалось, был утяжелен думами исключительной государственной важности. Он смотрел на менеджеров среднего звена в галстуках и думал о высоком – о судьбах цивилизаций. Его разум парил в сферах чистой геополитики, далекой от мещанской суеты.

Вдруг официант, пронося мимо поднос, споткнулся об угол стола. Фарфоровый сливочник качнулся, и густая белая струя с тихим шлепком упала на темное сукно брюк Платона Пантелеймоновича.

– О, извечный раскол! – громко воскликнул наш отрицательный герой, не на шутку испугав официанта. – Вот оно, столкновение стихий! Чистый романо-германский рафинированный эгоизм Запада пытается поглотить самобытную, девственную почву Востока!

Он поднялся, промакивая брюки платком, и обратился уже ко всему залу:

– Милостивые государи, вы ведь понимаете, что это не просто сливки? Это же чистой воды евразийство! Мы, русские, – не Европа и не Азия. Мы – самобытный срединный

материк, Евразия. Наш великий мыслитель князь Николай Трубецкой ясно доказал: петровские реформы привили нам чуждый, искусственный западный дух. Мы должны вернуться к туранским корням! Наша культура – это сплав славянского субстрата и степной кочевой государственности, оставленной нам Чингисханом. Сакральная география делит мир на Океанские державы и Хартленд – срединную землю. И кто контролирует Хартленд, тот правит миром!

Посетители за столиками замерли, очарованные мощью интеллекта. Платон Пантелеймонович распалялся, его глаза лихорадочно блестели.

– Георгий Флоровский справедливо писал о «путях русского богословия», о нашей симфонии властей! Но вы вдумайтесь в самую суть степного кочевого порыва! Что есть степь? Это бескрайнее, податливое, готовое к соитию пространство. А Океан – это вечное, мокрое, штормящее лоно, требующее жесткого проникновения сухопутных евразийских орд! Да-да, геополитика – это чистый блуд! Возьмем туранский элемент. Кочевники на конях врывались в оседлые земли. Зачем? Чтобы брать дань и баб! Какая симфония властей, помилуйте? Чистый, животный замес в стогу сена!

Голос Платона Пантелеймоновича внезапно осекся, потеряв бархатные петербургские нотки. Он хмыкнул, вытер потные ладони о пиджак и плотоядно уставился на дородную главную бухгалтершу за соседним столиком.

– И ты, матушка, сидишь тут, пирожное жрешь, а в те-

бе же туранская кровь так и бурлит, сучка ты эдакая. Твой хартленд небось истосковался по кочевому набегу. Вон как грудь колыхается – чисто степные курганы под южным ветром. Запад у них загнивает, ха! Да европейские бабы просто разучились давать по-нашему, по-евразийски, без этих ихних нежностей и контрактов. Им бы все реверансы, а нашей бабе нужен здоровый косматый гунн, чтоб схватил за косы, повалил на телегу прямо в навоз и отлюбил так, чтоб искры из глаз! Вот она, истинная соборность и евразийский исход! Поглубже засадить этот наш восточный стержень в рыхлую европейскую плоть, чтоб аж захлебнулась, милая!

Бухгалтерша завизжала, выронив эклер. Платон Пантелеймонович, тяжело дыша и расстегивая верхнюю пуговицу сорочки, потянулся к чужому столу, но был ловко перехвачен за шиворот подоспевшим администратором.

Евхаристия

Платон Пантелеймонович Похотливый стоял у окна своей заваленной фолиантами квартиры, заложив руки за спину. Утро дышало благостью. В небе над Санкт-Петербургом плыли облака, напоминавшие Платону Пантелеймоновичу то ли античные портики, то ли пышные взбитые сливки в его любимой кондитерской.

«Мир есть гармония, – думал он, поправляя пенсне. – Все в нем соподчинено высшему смыслу, все стремится к единению, к великому акту причастия бытия к вечности».

С этой возвышенной мыслью он отправился в ближайшую булочную. На углу, у входа в храм, он заприметил старушку, благоговейно прижимавшую к груди просфору. От этого зрелища мысли его сами собой повернули к Евхаристии. Платон Пантелеймонович приосанился и обратился к случайному прохожему в потертом пальто:

– Друг мой, задумывались ли вы когда-нибудь о таинстве Благодарения? Ведь Евхаристия – это не просто обряд. Это анамнесис, воспоминание, становящееся реальностью! Хлеб и вино, эти земные субстанции, в горниле молитвы пресуществляются. Это метаболе, понимаете ли? Буквальное единение тварного с нетварным. Мы вкушаем Плоть и Кровь, дабы излечить поврежденную природу Адама.

Прохожий икнул. Платон Пантелеймонович, воодушев-

ленный отсутствием возражений, продолжал, но его взгляд вдруг зацепился за проходящую мимо девицу в неприлично короткой юбке. Юбка была цвета спелой вишни, точь-точь как кагор в литургической чаше.

– Вот и здесь, – голос Похотливого дрогнул, а логика дала крен в сторону его истинного призвания. – Ведь что такое вино? Кровь. А кровь, как известно, бурлит не только в чаше, но и в чреслах. Вот вы посмотрите на эту... фифу. Она идет, и в ней тоже все пресуществляется! Из невинной прохожей она в моем воображении превращается в объект такого глубокого «причастия», что никакому катехизису не снилось.

Он подался вперед, обдав собеседника запахом мятных капель и страсти.

– Видите эти бедра? Это же настоящие хлебы предложения! Я бы их преломил, да так, чтоб мука по всей округе летела. Она думает, что просто несет свою корму по тротуару, а на самом деле она – алтарь, на который я готов принести свою... кхм... жертву. И ведь процесс этот, сударь, абсолютно физиологичен. Какое там «духовное делание»! Тут начинается чистая жатва.

Платон Пантелеймонович раскраснелся, пенсне запотело. От добропорядочного интеллигента не осталось и следа.

– Ты глянь, как она ковыляет, паскуда. Это ж не походка, это призыв к массовой помывке грехов в бане. Я бы ее так «просветил» в темном переулке, что она б у меня все молитвы задом наперед выучила. Хлеб им подавай... Да я бы ее

саму схавал без соли и лука, вцепился бы в эти окорока, как голодный пес в кость. Вот это я понимаю – единение плоти! А вы говорите – литургия... Литургия у меня начнется, когда я эту кобылу за угол заманю, там такие таинства пойдут, что чертям в аду жарко станет. Тьфу!

Он смачно сплюнул, внезапно осознав, что прохожий давно сбежал, а «фифа» скрылась в подворотне. Платон Пантелеймонович поправил галстук, вытер пот со лба и снова принял вид благообразного интеллектуала.

– Впрочем, – пробормотал он, глядя в небо, – святость требует тишины и смирения.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.